

СТЕПЬ ИЗБРАННОЕ



РУССКАЯ КУЛЬТУРА

АНТОН ЧЕХОВ

АНТОН ЧЕХОВ
Степь. Избранное

ТД "Белый город"
1882-1895

УДК 821.161.1
ББК 84Р1-44

Чехов А. П.

Степь. Избранное / А. П. Чехов — ТД "Белый город", 1882-1895

ISBN 978-5-00119-041-7

Творчество А.П. Чехова, непревзойденного мастера драматургии, юмористических рассказов и лирической прозы, известно во всем мире. В настоящее издание вошли лучшие повести и юмористические рассказы великого русского писателя. В сборник включен критико-биографический очерк, посвященный А.П. Чехову, авторства известного литературного критика и писателя рубежа XIX–XX веков А.А. Измайлова, а также краткая справочная информация о входящих в него произведениях. Книга предназначена для самого широкого круга читателей, интересующихся русской классической литературой и культурой.

УДК 821.161.1

ББК 84Р1-44

ISBN 978-5-00119-041-7

© Чехов А. П., 1882-1895
© ТД "Белый город", 1882-1895

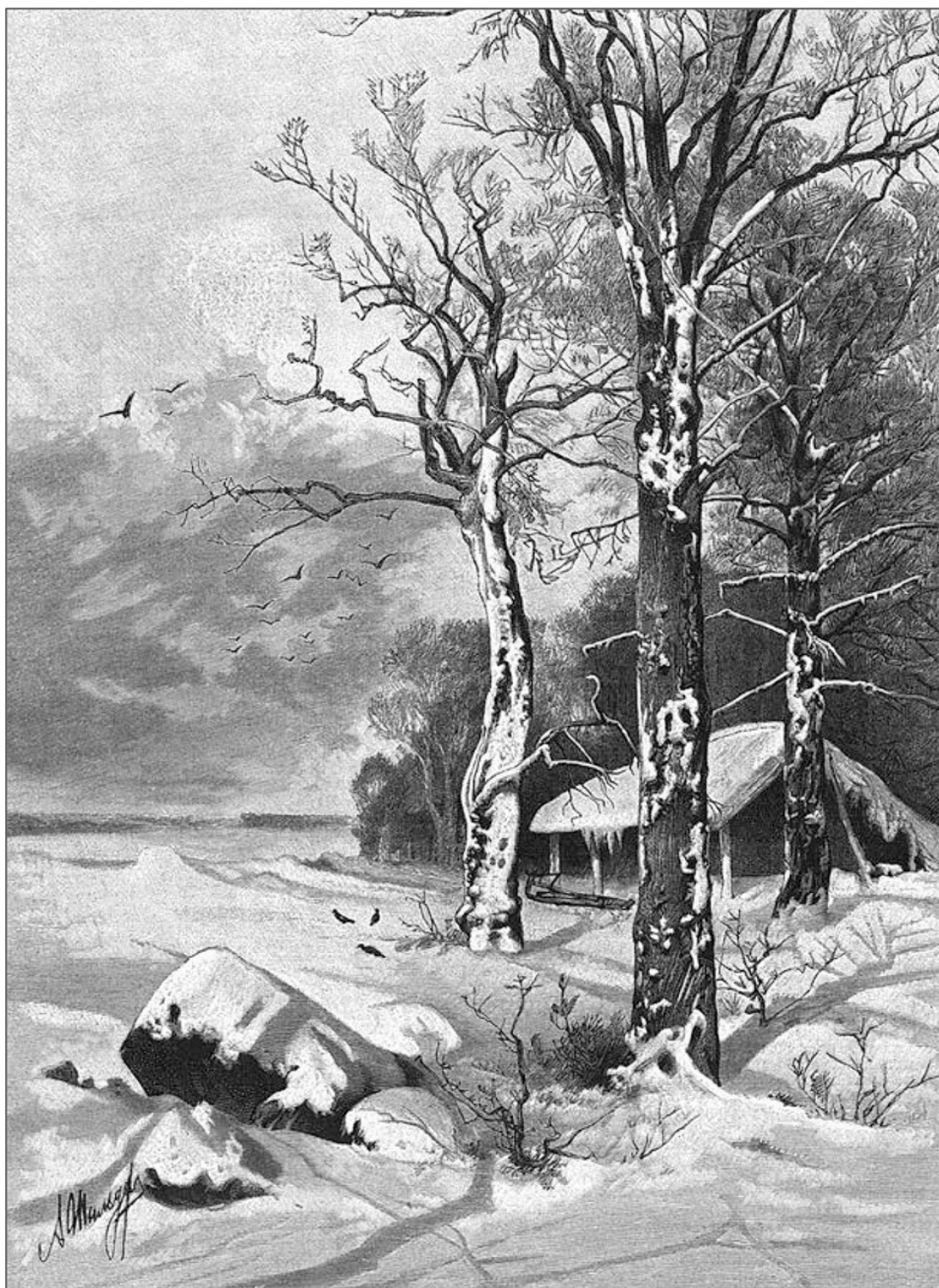
Содержание

Скверная история	7
Барыня	14
I	14
II	21
III	25
Дочь Альбиона	30
Невидимые миру слезы	34
Лошадиная фамилия	37
Злоумышленник	40
Пассажир 1-го класса	43
Ведьма	47
Тоска	55
Пустой случай	58
Каштанка	64
I Дурное поведение	64
II Таинственный незнакомец	66
III Новое, очень приятное знакомство	68
IV Чудеса в решете	69
Конец ознакомительного фрагмента.	70

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ
Степь. Избранное
(Сборник)

© ООО ТД «Белый город», 2019

* * *



Скверная история (*Нечто романообразное*)

Дело завязалось еще зимой.

Был бал. Гремела музыка, горели люстры, не унывали кавалеры и наслаждались жизнью барышни. В залах были танцы, в кабинетах картеж, в буфете выпивка, в читальне отчаянные объяснения в любви.

Леля Асловская, кругленькая, розовенькая блондинка, с большими голубыми глазами, с длиннейшими волосами и с цифрой 26 в паспорте, назло всем, всему свету и себе, сидела особняком и злилась. Душу ее скребли кошки. Дело в том, что мужчины вели себя по отношению к ней больше чем по-свински. В последние два года в особенности поведение их было ужасное. Она заметила, что они перестали обращать на нее внимание. Они стали неохотно плясать с ней. Мало того, идет, каналья, мимо – и не посмотрит даже, как будто бы она перестала уже быть красавицей. А если и взглянет какой-нибудь нечаянно, невзначай, то взглянет не с удивлением, не платонически, а так, как глядят перед обедом на сдобный расстегай или поросенка.

А между тем в былые годы...

– И этак каждый вечер, каждый бал! – злилась Леля, кусая губы. – Я знаю, почему они не замечают меня, знаю! Они мстят! Мстят мне за то, что я их презираю! Но... но когда же наконец замуж? Разве так выйдешь замуж? Время не ждет ведь, не ждет! Негодяи вы этикие!

В описываемый вечер судьбе угодно было сжалиться над Лелей. Когда поручик Набрядлов вместо того, чтобы плясать с нею обещанную третью кадрили, напился как стелька пьян и, проходя мимо нее, как-то глупо чмокнул губами и тем показал свое полное пренебрежение, она не вынесла... Злоба ее достигла апогея. Голубые глаза обволоклись влагой, губы задрожали. Слезы готовы были брызнуть... Чтобы не показать профанам своих слез, она отвернулась к темным вспотевшим окнам, и – о, чудный миг, это ты! – у одного из окон увидела прекрасного юношу, который не спускал с нее глаз. Юноша изображал из себя картину умиленную, колющую как раз в самое сердце. Поза его была – шик, глаза полны любви, удивления, вопросов, ответов, лицо грустное. Леля моментально ожила. Она приняла надлежащую позу и принялась за надлежащее наблюдение. Последнее показало, что юноша глядел не случайно, не так себе, а не спуская глаз, упиваясь и восхищаясь.

«Боже! – подумала Леля. – Хоть бы кто-нибудь догадался его представить! Что значит свежий мужчина! Сейчас заметил!»

Вскоре юноша завертелся, заходил по залам и начал приставать к мужчинам.

«Хочет познакомиться! Просит, чтоб представили!» – подумала, захлебываясь, Леля.

И подлинно. Минутку через десять актерик-любитель, с бритой шалопайской физиономией, внял просьбам юноши и, сильно шаркая ногами, представил его Леле. Юноша оказался «нашим», до чертиков талантливым художником Ногтевым. Ногтев – юноша лет двадцати четырех, брюнет с страстными, грузинскими глазами, с красивыми усиками и с бледными щеками. Он никогда ничего не пишет, но он художник. У него длинные волосы, эспаньолка, есть золотая палитра на часовой цепочке, золотые палитры вместо запонок, перчатки до локтей и неимоверно высокие каблуки. Малый добрый, но глупый, как гусь. Имеет благородного папашу, таковую же мамашу и богатую бабушку. Холост. Он несмело пожал Лелину руку, несмело сел и, севши, начал пожирать Лелю своими большими глазами. Заговорил он нескоро и несмело. Леля тарыхтела, а он говорил только: «Да... нет... я, знаете ли...», говорил чуть дыша, отвечая невпопад и то и дело в смущении почесывая (свой, а не Лелин) левый глаз. Леля духовно аплодировала. Она порешила, что художник втюрился, и торжествовала.

На другой день после бала Леля сидела в своей комнате у окна и, торжествуя, глядела на улицу. По улице, перед ее окнами, взад и вперед блуждал Ногтев. Ногтев блуждал и запускал глазами на ее окна. Он глядел, точно помирать собирался: грустно, томно, нежно, огненно. На третий день – то же самое. На четвертый был дождь, и его под окнами не было (Ногтева убедил кто-то, что к его фигуре не идет зонтик). На пятый день было сделано так, что он явился в дом Лелиных родителей с визитом. Знакомство затянулось гордиевым узлом: связалось до невозможности развязать. Недели через четыре был опять бал. (Зри начало.) Ногтев стоял у дверей, опершись плечами о косяк, и пожирал Лелю глазами. Леля, желая возбудить в нем ревность, кокетничала вдали с поручиком Набрядловым, который был пьян, но не как стелька, а так, чуть-чуть, на первом взводе.

К Ногтеву боком подошел ее рарá.

– Все рисуете-с? – спросил рара. – Художеством занимаетесь?

– Да.

– Тэк-с... Хорошее дело... Дай Бог, Дай Бог... Гм... Бог талант, значит, такой послал. Тэк... У всякого свой талант...

Рарá помолчал и продолжал:

– А вот вы, молодой человек, знаете ли, вот что вы сделайте, коли вы того... все рисуете. Вы весной к нам пожалуйте, в деревню. Презанимательные места там есть! Виды, я вам скажу, страсть! Рахваелю таких не доводилось рисовать. Очень рады будем. Да и дочка с вами так... сдружилась... Э-э-хме... Ммолодые люди, ммолодые люди! Хе-хе-хе...

Художник поклонился и первого мая сего года вместе со своими пожитками покати́л в имение Асловских. Его пожитки состояли из ненужного ящика с красками, жилетки-пике, пустого портсигара и двух сорочек. Принят он был с объятиями самыми распростертыми. Дали в его распоряжение две комнаты, двух холуев, лошадь и все, что пожелает, лишь бы только надежды подавал. Он воспользовался своим новым положением как нельзя лучше: ужасно много ел, много пил, долго спал, восхищался природой и не отрывал глаз от Лели. Леля была больше чем счастлива. Ее он был близок, был молод, хорош, был так робок... так любил! Он был так робок, что не умел подходить к ней, а глядел на нее все больше издалека, из-за портьеры или из-за кустика. «Робкая любовь!» – думала Леля, вздыхая...

В одно прекрасное утро ее рара и Ногтев сидели в саду на скамье и беседовали. Рара прохаживался насчет прелестей семейного счастья, а Ногтев терпеливо внимал и глазами искал Лелиного торса.

– Вы у отца один сын? – спросил, между прочим, рара.

– Нет... У меня есть брат, Иван... Славный Малый! Прелесть что за человек! Вы не знакомы с ним?

– Не имею чести...

– Жаль, что вы не знакомы. Он остряк такой, знаете ли, весельчак, душа человек! Литературой занимается. Все редакции его приглашают. В «Шуте» сотрудничает. Жаль, что не знакомы. Он рад был бы познакомиться... Вот что! Хотите, я напишу, чтоб он сюда приехал А? Ей-Богу! Веселей будет!

Сердце рарá от этакого предложения точно дверью прищемило, но – нечего делать! – нужно было сказать: «Очень рад!»

Ногтев подпрыгнул в знак своего хорошего расположения и немедленно написал брату приглашение.

Брат Иван не замедлил явиться. Явился он не один, а вкупе со своим другом, поручиком Набрядловым, и огромнейшим, беззубым, старым псом Туркой. Прихватил он их с собой для того, чтобы, как он выражался, дорогой разбойники не напали и выпить было бы с кем. Им отведены были три комнаты, два холуя и одна лошадь на двоих.

– Вы, господа, – сказал Иван хозяевам, – не беспокойтесь о нас! Нам ваших беспокойств не нужно. Нам ни перин, ни соусов, ни фортепианов – ничего не нужно! А вот ежели помило-сердствуете насчет пивка и водочки, ну... тогда другое дело!

Если вы вообразите себе огромнейшего тридцатилетнего мордастого малого, в парусинной блузе, с паршивенькой бородкой, опухшими глазами и с галстуком в сторону, то вы избежите меня от описания Ивана. Это был несноснейший в мире человек.

Когда он был трезв, он был еще сносен: на кровати лежал и молчал. Пьяный же был он невыносим, как репейник на голом теле. Когда он пьян, он говорит не умолкая, причем сквернословит, не стесняясь ни женским, ни детским присутствием. Говорит он о вшах, клопах, штанах и черт знает о чем. Других тем, более новых, у него не водится. Рара, тапан и Леля недоумевали и краснели, когда Иван, сидя за обедом, начинал острить.

К несчастью, во все свое пребывание в имении Асловских ему ни разу не удалось быть трезвым. Набрыдлов же, маленький, худенький поручик, во все лопатки старался походить на Ивана.

– Мы с ним не художники! – говорил он. – Куды нам! Мы мужички!

Иван и Набрыдлов первым делом из барских хором, где им показалось душно, перебрались во флигель к управляющему, который не прочь был выпить с порядочными людьми. Вторым делом они снимали сюртуки и защеголяли по двору и по саду без сюртуков. Леле то и дело приходилось в саду наталкиваться на валявшегося под деревом в дезабилье брата или поручика. Брат и поручик пили, ели, кормили пса печенкой, острили над хозяевами, гонялись по двору за кухарками, громко купались, мертвецки спали и благословляли судьбу, случайно загнавшую их в те места, где можно а` la сыр в масле кататься.

– Послушай, ты! – сказал однажды Иван художнику, подмигивая пьяным глазом в сторону Лели. – Ежели ты за ней... то черт с тобой! Мы не тронем. Ты первый начал, тебе и книги в руки. Честь и место! Мы благородно... Желаем успеха!

– Отбивать не станем, нет! – подтвердил Набрыдлов. – Было бы свинством с нашей стороны.

Ногтев пожал плечами и устремил свои жадные очи на Лелю.

Когда надоедает тишина, хочется бури; когда надоедает сидеть чинно и благородно, хочется дебош устроить. Когда Леле надоела робкая любовь, она начала злиться. Робкая любовь – это басня для соловья. К великой досаде, в июне художник был так же робок, как и в мае. В хоромах шили приданое: папа денно и ночью мечтал о займе денег для свадьбы, а между тем их отношения не вылились еще в определенную форму. Леля заставляла художника по целым дням удить с собой рыбу. Но это не помогло. Он стоял возле нее с удочкой, молчал, заикался, пожирал ее глазами – и только. Ни одного сладко-ужасного слова! Ни одного признания!

– Называй меня... – сказал ему однажды рара. – Называй меня... Ты извини... что я говорю тебе «ты»... Я любя, знаешь... Называй меня папой... Это я люблю.

Художник стал сдуру величать рара папой, но и это не помогло. Он по-прежнему был нем там, где следовало возроптать на богов за то, что они дали человеку один только язык, а не десять. Иван и Набрыдлов скоро подметили тактику Ногтева.

– Черт тебя знает! – возроптали они. – Сам сена не жрешь и другим не даешь! Этакая скотина! Трескай же, дуб, коли кусок сам тебе в рот лезет! Не хочешь, так мы возьмем! То-то!

Но всему на этом свете бывает конец. Будет конец и этой повести. Кончилась и неопределенность отношений художника с Лелей.

Завязка романа произошла в середине июня.

Был тихий вечер. В воздухе пахло. Соловей пел во всю ивановскую. Деревья шептались. В воздухе, выражаясь длинным языком российских беллетристов, висела нега... Луна, разу-

меется, тоже была. Для полноты райской поэзии не хватало только г. Фета, который, стоя за кустом, во всеуслышание читал бы свои пленительные стихи.

Леля сидела на скамье, куталась в шаль и задумчиво глядела сквозь деревья на речку.

«Неужели я так неприступна?» – думала она, и воображению ее представлялась она сама, величественная, гордая, надменная...

Размышления ее прервал подошедший рара.

– Ну, что? – спросил рара. – Все то же?

– То же.

– Гм... Черрт... Когда же все это кончится? Ведь мне, матушка, прокормить этих лодырей дорого стоит! Пятьсот в месяц! Не шутка! На одного пса три гривенника в день на печенку сходит! Коли свататься, так свататься, а нет, так и к черту и с братцем и с псом! Что же он говорит по крайней мере? Говорил он с тобой? Объяснялся?

– Нет. Он, папа, такой застенчивый!

– Застенчивый... Знаем мы их застенчивость! Глаза отводит. Подожди, я его сейчас пришлю сюда. Покончи с ним, матушка! Нечего церемониться... Пора. Изволь-ка, матушка, того... Не молоденькая... фокусы, небось, все уже знаешь!

Рара исчез. Минут через десять, робко пробираясь кустами сирени, показался художник.

– Вы меня звали? – спросил он Лелю.

– Звала. Подойдите сюда! Полно вам меня бегать! Садитесь!

Художник тихохонько подошел к Леле и тихохонько сел на краешек скамьи.

«Какой он хорошенький в темноте!» – подумала Леля и, обратясь к нему, сказала:

– Расскажите-ка что-нибудь! Отчего вы такой скрытный, Федор Пантелеич? Отчего вы все молчите? Отчего вы никогда не откроете предо мной свою душу? Чем я заслужила у вас такое недоверие? Мне обидно, право... Можно подумать, что мы с вами не друзья... Начинайте же говорить!

Художник откашлялся, порывисто вздохнул и сказал:

– Мне вам многое нужно сказать, очень многое!

– В чем же дело стало?

– Боюсь, чтоб вы не обиделись. Елена Тимофеевна, вы не обидитесь?

Леля захихикала.

«Настала минута! – подумала она. – Как дрожит! Как он дрожит! Поймался, голубчик!»

У Лели самой затряслись поджилки. Ее охватил столь любезный каждому романисту трепет.

«Минут через десять начнутся объятия, поцелуи, клятвы... Ах!..» – замечтала она и, чтобы подлить масла в огонь, своим обнаженным горячим локтем коснулась художника.

– Ну? В чем же дело? – спросила она. – Я не такая недотрога, как вы думаете... (Пауза.) Говорите же!.. (Пауза.) Скорей!!



– Видите ли... Я, Елена Тимофеевна, ничего в жизни так не люблю, как искусство... искусство, так сказать. Товарищи находят, что у меня талант, и что из меня выйдет неплохой художник...

– О, это наверное! Sans doute!¹

¹ Без сомнения! (франц.)

– Ну, да... Так вот... Люблю я свое искусство... Значит... Я предпочитаю жанр, Елена Тимофеевна! Искусство... Искусство, знаете ли... Чудная ночь!

– Да, редкая ночь! – сказала Леля и, извиваясь змеей, съежилась в шали и полузакрыла глаза. (Молодцы женщины по части амурных деталей, страсть какие молодцы!)

– Я, знаете ли, – продолжал Ногтев, ломая свои белые пальцы, – давно уже собирался поговорить с вами, да все... боялся. Думал, что вы рассердитесь... Но вы, если поймете меня, то... не рассердитесь. Вы тоже любите искусство!

– О... Ну да... Как же! Искусство ведь!

– Елена Тимофеевна! Вы знаете, зачем я здесь? Вы не можете догадаться?

Леля сильно сконфузилась и, якобы нечаянно, положила свою руку на его локоть...

– Это правда, – продолжал, помолчав, Ногтев, – есть между художниками свиньи... Это правда... Они ни в грош не ставят женскую стыдливость... Но ведь я... я ведь не такой! У меня есть чувство деликатности. Женская стыдливость есть такая... такая стыдливость, которой negliжировать нельзя!

«Для чего он говорит мне это?» – подумала Леля и спрятала в шаль свои локти.

– Я не похож на тех... Для меня женщина – святыня! Так что вам бояться нечего... Я не такой, я такой, что не позволю себе чепуху выделывать... Елена Тимофеевна! Вы позволите? Да послушайте, я, ей-Богу, ведь искренно, потому что я не для себя, а для искусства! У меня на первом плане искусство, а не удовлетворение скотских инстинктов!

Ногтев схватил ее за руку. Она подалась чуточку в его сторону.

– Елена Тимофеевна! Ангел мой! Счастье мое!

– Н...ну?

– Можно вас попросить?

Леля захихикала. Губы ее уже сложились для первого поцелуя.

– Можно вас попросить? Умоляю! Ей-Богу, для искусства! Вы мне так понравились, так понравились! Вы та, которую именно мне и нужно! К черту других! Елена Тимофеевна! Друг мой! Будьте моей...

Леля вытянулась, готовая пасть в объятия. Сердце ее застучало.

– Будьте моей...

Художник схватил ее за другую руку. Она покорно склонила головку на его плечо. Слезы счастья блеснули на ее ресницах...

– Дорогая моя! Будьте моей... натурщицей!

Леля подняла голову.

– Что?

– Будьте моей натурщицей!

Леля поднялась.

– Как? Кем? – Натурщицей... Будьте!

– Гм... Только-то?

– Вы меня премного обяжете! Вы дадите мне возможность написать картину, и... какую картину!

Леля побледнела. Слезы любви вдруг обратились в слезы отчаяния, злобы и других нехороших чувств.

– Так вот... что? – проговорила она, трясаясь всем телом.

Бедный художник! Яркое-красное зарево окрасило одну из его белых щек, когда звуки звонкой пощечины понесли, мешаясь с собственным эхом, по темному саду. Ногтев почесал щеку и остолбенел. С ним приключился столбняк. Он почувствовал, что он проваливается сквозь всю Вселенную... Из глаз посыпались молнии...

Леля, трепещущая, бледная как смерть, ошалевшая, сделала шаг вперед, покачнулась. По ней точно колесом проехали. Собравшись с силами, она неверной, большой походкой направи-

лась к дому. Ноги ее подгибались, из глаз сыпались искры, руки тянулись к волосам с явным намерением вцепиться в оные...

До дома оставалось только несколько сажен, когда ей еще раз пришлось побледнеть. На ее пути, около беседки, увитой диким виноградом, стоял, широко растопырив руки, пьяный мордастый Иван, непричесанный, с расстегнутой жилеткой. Он глядел в Лелино лицо, сардонически ухмылялся и осквернял воздух мефистофелевским «ха-ха». Он схватил Лелю за руку.

– Подите прочь! – прошипела Леля и отдернула руку...

Скверная история!

Барыня

I

К избе Максима Журкина, шурша и шелестя по высохшей, пыльной траве, подкатила коляска, запряженная парой хорошеньких вятских лошадок. В коляске сидели барыня Елена Егоровна Стрелкова и ее управляющий Феликс Адамович Ржевецкий. Управляющий ловко выскочил из коляски, подошел к избе и указательным пальцем постучал по стеклу. В избе замелькал огонек.

– Кто там? – спросил старушечий голос, и в окне показалась голова Максимовой жены.

– Выйди, бабушка, на улицу! – крикнула барыня.

Через минуту из избы вышли Максим и его жена. Они остановились у ворот и молча поклонились барыне, а потом управляющему.

– Скажи на милость, – обратилась Елена Егоровна к старику, – что все это значит?

– Что такое-с?

– Как что? Разве не знаешь? Степан дома?

– Никак нет. На мельницу уехал.

– Что он строит из себя? Я решительно не понимаю этого человека! Зачем он ушел от меня?

– Не знаем, барыня. Нешто мы знаем?

– Ужасно некрасиво с его стороны! Он оставил меня без кучера! По его милости Феликсу Адамовичу приходится самому запрягать лошадей и править. Ужасно глупо! Вы поймите, что это, наконец, глупо! Жалованья ему показалось мало, что ли?

– А Христос его знает! – отвечал старик, косясь на управляющего, который засматривал в окна. – Нам не говорит, а в голову к нему не залезешь. Ушел, говорит, да и шабаш! Своя воля! Должно полагать, жалованья мало показалось!

– А это кто под образами на лавке лежит? – спросил Феликс Адамович, глядя в окно.

– Семен, батюшка! А Степана нету.

– Дерзко с его стороны! – продолжала барыня, закуривая папироску. – Мсье Ржевецкий, сколько получал он у вас жалованья?

– Десять рублей в месяц.

– Если ему показалось мало десяти, то я могла бы дать пятнадцать! Не сказал ни слова и ушел! Честно это? Добросовестно?

– Говорил ведь я, что никогда не следует церемониться с этим народом! – заговорил Ржевецкий, отчеканивая каждый слог и стараясь не делать ударения на предпоследнем слоге. – Вы разбаловали этих дармоедов! Никогда не следует заразом отдавать всего жалованья! К чему это? Да и зачем вы хотите прибавить жалованья? И так придет! Он договорился, нанялся! Скажи ему, – обратился поляк к Максиму, – что он свинья и больше ничего!

– Finissez donc!²

– Слышишь, мужик? Нанялся – так и служи, а не уходи, когда тебе вздумается, черт! Пусть только не придет завтра! Я покажу ему не слушаться! И вам достанется! Слышишь, старуха?

– Finissez, Ржевецкий!

² Кончайте же! (франц.)

– Всем достанется! Не являйся тогда ко мне в контору, старый собака! С вами церемониться?! Вы разве люди? Разве вы понимаете хорошие слова? Вы только тогда понимаете, ежели вас по шеем бьют и делают вам неприятности! Чтоб ходил завтра!

– Я скажу ему. Отчего не сказать? Сказать можно...

– Скажи ему, что прибавлю ему жалованья, – сказала Елена Егоровна. – Не могу же я быть без кучера. Когда найду другого, пусть тогда и уходит, если ему угодно. Завтра утром чтобы опять был у меня! Скажите ему, что я глубоко оскорблена его невежливым поступком! И вы, бабушка, скажите! Надеюсь, что он будет у меня и не заставит посылать за собой. Подойди сюда, бабушка! На тебе, милая! Что, небось трудно управляться с такими большими детьми? Бери, милая!

Барыня вынула из кармана хорошенький портсигар, потянула из-под папирос желтую бумажку и подала ее старухе.

– Если же не придет, – прибавила барыня, – то нам придется поссориться, что было бы крайне нежелательно. Но я надеюсь... Вы ему посоветуете. Едемте, Феликс Адамыч! Прощайте.

Ржевецкий вскочил в коляску, взял в руки вожжи, и коляска покатила по мягкой дороге.

– Сколько дала? – спросил старик.

– Рупь.

– Дай сюда!

Старик взял рубль, погладил его обеими ладонями, бережно сложил и спрятал в карман.

– Степан, уехала! – сказал он, входя в избу. – Я ей сбрежал, что ты на мельницу уехал. Перепугалась, страсть как!..

Как только отъехала коляска и скрылась из вида, в окне показался Степан. Бледный как смерть, дрожащий, он выполз наполовину из окна и погрозил своим большим кулаком темневшему вдаль саду. Сад был барский. Погрозив раз шесть, он проворчал что-то, потянулся назад в избу и с шумом опустил раму.

Через полчаса после того, как уехала барыня, в избе Журкина ужинали. В кухне возле самой печки за засаленным столом сидели Журкин и его жена. Против них сидел старший сын Максима – Семен, временно-отпускной, с красным испитым лицом, длинным рябым носом и масляными глазами. Семен был похож лицом на отца, он не был только сед, лыс и не имел таких хитрых, цыганских глаз, какими обладал его отец. Рядом с Семеном сидел второй сын Максима, Степан. Степан не ел, а, подперевши кулаком свою красивую белокурую голову, смотрел на закопченный потолок и о чем-то усердно мыслил. Ужин подавала жена Степана, Марья. Щи съели молча.

– Принимай! – сказал Максим, когда были съедены щи. Марья взяла со стола пустую чашку, но не донесла ее благополучно до печи, хотя и была печь близко. Она зашаталась и упала на скамью. Чашка выпала из ее рук и сползла с колен на пол. Послышались всхлипывания.

– Никак кто плачет? – спросил Максим.

Марья зарыдала громче. Прошло минуты две. Старуха поднялась и сама подала на стол кашу. Степан крякнул и встал.

– Замолчи! – пробормотал он.

Марья продолжала плакать.

– Замолчи, тебе говорят! – крикнул Степан.

– Смерть не люблю бабьего крику! – смело забормотал Семен, почесывая свой жесткий затылок. – Ревет и сама не знает, чего ревет! Сказано – баба! Ревела бы себе на дворе, коли угодно!

– Бабья слеза – капля воды! – сказал Максим. – Благо – слез не покупать, даром дадены. Ну, чего реवेशь? Эка! Перестань! Не возьмут у тебя твоего Степку! Избаловалась! Нежная! Поди кашу трескай!

Степан нагнулся к Марье и слегка ударил ее по локтю.

– Ну чего? Замолчи! Тебе говорят! Э-э-э... сволочь!

Степан размахнулся и ударил кулаком по скамье, на которой лежала Марья. По его щеке поползла крупная сверкающая слеза. Он смахнул с лица слезу, сел за стол и принялся за кашу. Марья поднялась и, всхлипывая, села за печью, подальше от людей. Съели и кашу.

– Марья, кваску! Знай свое дело, молодуха! Стыдно сопли распускать! – крикнул старик. – Не маленькая!

Марья с бледным, заплаканным лицом вышла и, ни на кого не глядя, подала старику ковш. Ковш заходил по рукам. Семен взял в руки ковш, перекрестился, хлебнул и поперхнулся.

– Чего смеешься?

– Ничего... Это я так. Смешное вспомнил.

Семен закинул назад голову, раскрыл свой большой рот и захихикал.

– Барыня приезжала? – спросил он, глядя искоса на Степана. – А? Что она говорила? А? Ха-ха!

Степан взглянул на Семена и густо покраснел.

– Пятнадцать целковых дает, – сказал старик.

– Ишь ты! И сто даст, лишь бы только захотел! Побей Бог, даст!

Семен мигнул глазом и потянулся.

– Эх, кабы мне такую бабу! – продолжал он. – Высосал бы чертовку! Сок выжал! Ввв...

Семен съежился, ударил по плечу Степана и захохотал.

– Так-то, душа! Больно ты комфузлив! Нашему брату комфузиться не рука! Дурак ты, Степка! Ух, какой дурак!

– Вестимо, дурак! – сказал отец.

Послышались опять всхлипывания.

– Опять твоя баба ревет! Знать, ревнива, щекотки боится! Не люблю бабьего визгу. Как ножом режет! Эх, бабы, бабы! И на какой предмет вас Бог создал? Для какой такой стати? Мерси за ужин, господа почтенные! Теперь бы винца выпить, чтоб прекрасные сны снились! У барыни твоей, должно полагать, вина того тьма тьмущая! Пей – не хочу!

– Скот ты бесчувственный, Сенька!

Сказавши это, Степан вздохнул, взял в охапку полсть и вышел из избы на двор. За ним следом отправился и Семен.



На дворе тихо, безмятежно наступала летняя русская ночь. Из-за далеких курганов восходила луна. Ей навстречу плыли растрепанные облачки с серебрившимися краями. Небосклон побледнел, и во всю ширь его разлилась бледная, приятная зелень. Звезды слабей замелькали и, как бы испугавшись луны, втянули в себя свои маленькие лучи. С реки во все стороны потянуло ночной, щеки ласкающей влагой. В избе отца Григория на всю деревню продребезжали часы девять. Жид-кабатчик с шумом запер окна и над дверью вывесил засаленный фонарик.

На улице и во дворах ни души, на звука... Степан разостлал на траве полсти, перекрестился и лег, подложив под голову локоть. Семен крикнул и сел у его ног.

– М-да... – проговорил он.

Помолчав немного, Семен сел поудобней, закурил маленькую трубочку и заговорил:

– Был сегодня у Трофима... Пиво пил. Три бутылки выпил. Хочешь покурить, Степа?

– Не желаю.

– Табак хороший. Чаю бы теперь выпить! Ты у барыни пивал чай? Хороший? Должно, очень хороший? Рублей пять за фунт стóбит, должно быть. А есть такой чай, что за фунт сто рублей стóбит. Ей-Богу, есть. Хоть не пил, а знаю. Когда в городе в приказчиках служил, я видал... Одна барыня пила. Один запах чего стóбит! Нюхал. Пойдем к барыне завтра?

– Отстань!

– Чего ж ты сердисься? Я не ругаюсь, говорю только. Сердиться не след. Только отчего же тебе не идти, чудака? Не понимаю! И денег много, и еда хорошая, и пей, сколько душа хочет... Цигарки ее курить станешь, чаю хорошего попьешь...

Семен помолчал немного и продолжал:

– И красивая она. Со старухой связаться беда, а с этой – счастье! (Семен сплюнул и помолчал.) Огонь баба! Огненный огонь! Шея у ней славная, пухлая такая...

– А ежели душе грех? – спросил вдруг Степан, повернувшись к Семену.

– Гре-ех? Откудова грех? Бедному человеку ничего не грех.

– В пекло к черту и бедный пойдет, ежели... А нешто я бедный? Я не бедный.

– Да какой тут грех? Ведь не ты к ней, а она к тебе! Пугало ты!

– Разбойник, и рассуждение разбойничье...

– Глупый ты человек! – сказал, вздыхая, Семен. – Глупый! Счастья своего не понимаешь! Не чувствуешь! Денег, должно быть, у тебя много... Не нужны, знать, тебе деньги.

– Нужны, да не чужие.

– Ты не украдешь, а она сама, собственной ручкой тебе даст. Да что с тобой, дураком, толковать. Как об стену горохом... Мантифолию на уксусе разводить с тобой только.

Семен встал и потянулся.

– Будешь каяться, да поздно будет! Я с тобой апосля этого и знаться не хочу. Не брат ты мне. Черт с тобою... Возись с своей дурой коровой...

– Марья-то корова?

– Марья.

– Гм... Ты этой самой корове и под башмак не годишься. Ступай!

– И тебе было бы хорошо, и... нам хорошо. Дурак!!

– Ступай!

– И уйду... Бить тебя некому!

Семен повернулся и, посвистывая, поплелся к избе. Минут через пять около Степана зашуршала трава. Степан поднял голову. К нему шла Марья. Марья подошла, постояла и легла рядом с Степаном.

– Не ходи, Степа! – зашептала она. – Не ходи, мой родной! Загубит тебя! Мало ей, ока-янной, поляка, ты еще понадобился. Не ходи к ней, Степунька!

– Не лезь!

На лицо Степана мелким дождем закапали Марьины слезы.

– Не губи ты меня, Степан! Не бери греха на душу! Люби меня одну, не ходи к другим! Со мной повенчал Бог, со мной и живи. Сирота я... Только один ты у меня и есть.

– Отстань! Аа... сатана! Сказал – не пойду!

– То-то... И не ходи, миленький! В тягости я, Степушка... Детки скоро будут... Не бросай нас, Бог накажет! Отец-то с Семкой так и норовят, чтобы ты пошел к ней, а ты не ходи... Не гляди на них. Звери, а не люди.

– Спи!

– Сплю, Степа... Сплю.

– Марья! – послышался голос Максима. – Где ты? Поди, мать зовет.

Марья вскочила, поправила волосы и побежала в избу. К Степану медленно подошел Максим. Он уже разделся и в нижнем платье был похож на мертвеца. Луна играла на его лысине и светила в его цыганских глазах.

– Идешь к барыне завтра аль послезавтра? – спросил он Степана.

Степан не отвечал.

– Коли идти, так идти завтра, да пораньше. Небось лошади не чищены. Да не забудь, что пятнадцать обещала. За десять не иди.

– Я никак не пойду, – сказал Степан.

– Чего так?

– Да так... Не желаю...

– Отчего же?

– Сами знаете.

– Так... Смотри, Степа, как бы мне не пришлось драть тебя на старости лет!

– Дерите.

– Можешь ли так родителям отвечать? Кому отвечаешь? Смотри ты! Молоко еще на губах не высохло, а грубости отцу говоришь.

– Не пойду, вот и все! В церковь ходите, а греха не боитесь.

– Тебя же, глупого, отделить хочу! Избу новую надоть строить аль нет? Как по-твоему? К кому за лесом пойдешь? К Стрельчихе небось? У кого денег взаймы взять? У ней или не у ней? Она и лесу даст и денег даст. Наградит!

– Пушай других награждает. Мне не нужно.

– Отдеру!

– Ну и дерите! Дерите!

Максим улыбнулся и протянул вперед руку. В его руке была плеть.

– Отдеру, Степан.

Степан повернулся на другой бок и сделал вид, что ему мешают спать.

– Так не пойдешь? Ты это верно говоришь?

– Верно. Побей Бог мою душу, ежели пойду.

Максим поднял руку, и Степан почувствовал на плече и щеке сильную боль. Степан вскочил как сумасшедший.

– Не дерись, тятка! – закричал он. – Не дерись! Слышишь? Ты не дерись!

– А что?

Максим подумал и еще раз ударил Степана. Ударил и в третий раз.

– Слушай отца, коли он велит! Пойдешь, прохвост!

– Не дерись! Слышишь?

Степан заревел и быстро опустился на полсть.

– Я пойду! Хорошо! Пойду... Только помни! Жизни рад не будешь! Проклянешь!

– Ладно. Для себя пойдешь, а не для меня. Не мне новая изба нужна, а тебе. Говорил – отдеру, ну и отодрал.

– По... пойду! Только... только помянешь эту плеть!

– Ладно. Страшай. Поговори ты мне еще!

– Хорошо... Пойду...

Степан перестал реветь, повернулся на живот и заплакал тише.

– Плечами задергал! Расхныкался! Ревни больше! Завтра пораньше пойдешь. За месяц вперед возьми. Да и за четыре дня, что прослужил, возьми. Твоей же кобыле на платок сгодится. А за плеть не серчай. Отец я... Хочу – бью, хочу – милую. Так-то-ся... Спи!

Максим погладил бороду и повернул к избе. Степану показалось, что Максим, вошедши в избу, сказал: «Отодрал!» Послышался смех Семена.

В избе отца Григория жалобно заиграло расстроенное фортепиано: в девятом часу поповна обыкновенно занималась музыкой. По деревне понеслись тихие странные звуки. Степан встал, перелез через плетень и пошел вдоль по улице. Он шел к реке. Река блестела, как ртуть, и отражала в себе небо с луной и со звездами. Тишина царила кругом гробовая. Ничто не шевелилось. Лишь изредка вскрикивал сверчок... Степан сел на берегу, над самой водой, и подпер голову кулаком. Мрачные думы, сменяя одна другую, закопошились в его голове.

На другой стороне реки высились высокие, стройные тополи, окружавшие барский сад. Сквозь деревья просвечивал огонек из барского окна. Барыня, должно быть, не спала. Думал Степан, сидя на берегу, до тех пор, пока ласточки не залетали над рекой. Он поднялся, когда уже светилась в реке не луна, а взошедшее солнце. Поднявшись, он умылся, помолился на восток и быстро, решительным шагом зашагал вдоль берега к броду. Перешедши неглубокий брод, он направился к барскому двору...

II

– Степан пришел? – спросила, проснувшись на другой день, Елена Егоровна.

– Пришел! – отвечала горничная.

Стрелкова улыбнулась.

– А-а-а... Хорошо. Где он теперь?

– На конюшне.

Барыня вскочила с кровати, быстро оделась и пошла в столовую пить кофе.

Стрелкова была на вид еще молода, моложе своих лет.

Только глаза одни выдавали, что она успела уже прожить большую часть бабьего века, что ей уже за тридцать. Глаза у нее карие, глубокие, недоверчивые, скорей мужские, чем женские. Красива она не была, но нравиться могла. Лицо было полное, симпатичное, здоровое, а шея, о которой говорил Семен, и бюст были великолепны. Если бы Семен знал цену красивым ножкам и ручкам, то он, наверное, не умолчал бы и о ножках и ручках помещицы. Одетая она была во все простенькое, легкое, летнее. Прическа самая незатейливая. Стрелкова была ленива и не любила возиться с туалетом. Имение, в котором она жила, принадлежало ее брату холостяку, который жил в Петербурге и очень редко думал о своем имении. Жила она в нем с тех пор, как разошлась с мужем. Муж ее, полковник Стрелков, очень порядочный человек, жил тоже в Петербурге и думал о своей жене менее, чем ее брат о своем имении. Она разошлась с мужем, не проживши с ним и года. Она изменила ему на двадцатый день после свадьбы.

Севши пить кофе, Стрелкова приказала позвать Степана. Степан явился и стал у двери. Он был бледен, не причесан и глядел, как глядит пойманный волк: зло и мрачно. Барыня взглянула на него и слегка покраснела.

– Здравствуй, Степан! – сказала она, наливая себе кофе. – Скажи, пожалуйста, что это ты за фокусы строишь? С какой стати ты ушел? Пожил четыре дня и ушел! Ушел не спросясь. Ты должен был спроситься!

– Я спрашивался, – промычал Степан.

– У кого ты спрашивался?

– У Феликса Адамыча.

Стрелкова помолчала и спросила:

– Ты рассердился, что ли? Степан, отвечай! Я спрашиваю! Ты рассердился?

– Ежели бы вы не говорили таких слов, то я не ушел бы. Я для лошадей поставлен, а не для...

– Об этом не будем говорить... Ты меня не понял, вот и все. Сердиться не следует. Я ничего не сказала такого особенного. А если и сказала что-нибудь такое, что ты находишь для себя обидным, то ты... то ты... Ведь я все-таки... Я имею право и сказать лишнее... Гм... Я тебе прибавляю жалованья. Надеюсь, что у нас с тобой теперь недоразумений никаких не будет.

Степан повернулся и шагнул назад.

– Постой, постой! – остановила его Стрелкова. – Я еще не все сказала. Вот что, Степан... У меня есть новая кучерская одежда. Возьмешь ее и наденешь, а та, что на тебе, никуда не годится. Одежда у меня есть красивая. Я пришлю тебе ее с Федором.

– Слушаю.

– Какое у тебя лицо... Все еще дуешься? Неужели так обидно? Ну, полно... Я ведь ничего... У меня тебе хорошо будет жить... Всем будешь доволен. Не сердись... Не сердись?

– Да нешто нам можно сердиться?

Степан махнул рукой, замигал глазами и отвернулся.

– Что с тобой, Степан?

– Ничего... Нешто нам можно сердиться? Нам нельзя сердиться...

Барыня поднялась, сделала озабоченное лицо и подошла к Степану. – Степан, ты... ты плачешь?

Барыня взяла Степана за рукав.

– Что с тобой, Степан? Что с тобой? Говори же наконец? Тебя кто обидел?

У барыни навернулись на глазах слезы.

– Да ну же!

Степан махнул рукой, усиленно замигал глазами и заревел.

– Барыня! – забормотал он. – Буду тебя любить... Буду все, что хочешь! Согласен! Только не давай ты им, окаянным, ничего! Ни копейки, ни щепки! На все согласен! Продам душу нечистому, не давай им только ничего!

– Кому им?

– Отцу и брату... Ни щепки! Пусть подохнут, окаянные, от злости!

Барыня улыбнулась, вытерла глаза и громко засмеялась.

– Хорошо, – сказала она. – Ну, ступай! Я тебе сейчас твою одежду пришлю.

Степан вышел.

«Как хорошо, что он глуп! – подумала барыня, глядя ему вслед и любуясь его широчайшими плечами. – Он избавил меня от объяснения... Он первый заговорил о «любви».

Под вечер, когда заходящее солнце обливало пурпуром небо, а золотом землю, по бесконечной степной дороге от села к далекому горизонту мчались, как бешеные, стрелковские кони... Коляска подпрыгивала, как мячик, и безжалостно рвала на своем пути рожь, склонившую к дороге свои отяжелевшие колосья. На козлах сидел Степан, неистово стегал по лошадям и, казалось, старался перервать на тысячу частей вожжи. Он был одет с большим вкусом.

Видно было, что на его туалет потрачено было немало времени и денег. Недешевый бархат и кумач плотно сидели на его крепкой фигуре. На груди его висела цепочка с брелочками. Сапоги гармоникой были вычищены самой настоящей ваксой. Кучерская шляпа с павлиньим пером едва касалась его завитых белокурых волос. На лице его были написаны тупая покорность и в то же время ярое бешенство, жертвою которого были лошади... В коляске, развалившись всеми членами, сидела барыня и широкой грудью вдыхала в себя здоровый воздух. На щеках ее играл молодой румянец... Она чувствовала, что она наслаждается жизнью.

– Важно, Степа! Важно! – покрикивала она. – Так его! Погоняй! Ветром!

Будь под колесами камни, камни б рассыпались в искры... Село удалялось от них все более и более... Скрылись избы, скрылись барские амбары... Скоро не стало видно и колокольни... Наконец село обратилось в дымчатую полосу и потонуло вдали. А Степан все гнал и гнал. Хотелось ему подальше умчаться от греха, которого он так боялся. Но нет, грех сидел за его плечами, в коляске. Не пришлось Степану улепетнуть. В этот вечер степь и небо были свидетелями, как он продавал свою душу.

Часу в одиннадцатом кони мчались обратно. Пристяжная хромала, а коренной был покрыт пеной. Барыня сидела в углу коляски и с полузакрытыми глазами ежилась в своей тальме. На губах ее играла довольная улыбка. Дышалось ей так легко, спокойно! Степан ехал и думал, что он умирает. В голове его было пусто, туманно, а в груди грызла тоска...



Каждый день под вечер из конюшни выводились свежие лошади. Степан впрягал их в коляску и ехал к садовой калитке. Из калитки выходила сияющая барыня, садилась в коляску – и начиналась бешеная езда. Ни один день не был свободен от этой езды. К несчастью Степана, на его долю не выпало ни одного дождливого вечера, в который он мог бы не ехать.

После одной из таких поездок Степан, воротившись со степи, вышел со двора и пошел походить по берегу. В голове у него, по обыкновению, стоял туман, не было ни одной мысли, а в груди страшная тоска. Ночь была хорошая, тихая. Тонкие ароматы носились по воздуху и нежно заигрывали с его лицом. Вспомнил Степан деревню, которая темнела за рекой, перед его глазами. Вспомнил избу, огород, свою лошадь, скамью, на которой он спал с своей Марьей и был так доволен... Ему стало невыносимо больно...

– Степа! – услышал он слабый голос.

Степан оглянулся. К нему шла Марья. Она только что перешла брод и в руках держала башмаки.

– Степа, зачем ты ушел?

Степан тупо посмотрел на нее и отвернулся.

– Степушка, на кого ты меня, сироту, оставил?

– Отстань!

– Ведь Бог накажет, Степушка! Тебя же накажет! Пошлет тебе лютую смерть, без покаяния. Помянешь мое слово! Дядя Трофим жил с солдаткой – помнишь? – и как помер? И не дай Господи!

– Чего пристала? Эх...

Степан сделал два шага вперед. Марья ухватилась обеими руками за кафтан.

– Жена ведь я твоя, Степан! Не можешь ты меня так бросить! Степушка!

Марья заголосила.

– Миленький! Буду ноги мыть и воду пить! Пойдем домой!

Степан рванулся и ударил Марью кулаком; ударил так, с горя. Удар пришелся как раз по животу. Марья ёкнула, ухватилась за живот и села на землю.

– Ох! – простонала она.

Степан замигал глазами, хватил себя по виску кулаком и, не оглядываясь, пошел ко двору.

Пришедши к себе в конюшню, он упал на скамью, положил подушку на голову и больно укусил себя за руку.

В это время барыня сидела у себя в спальне и гадала: будет ли завтра вечером хорошая погода, или нет? Карты говорили, что будет хорошая.

III

Рано утром Ржевецкий ехал домой от соседа, у которого он был в гостях. Солнце еще не всходило. Было часа четыре утра, не больше. В голове Ржевецкого шумело. Он правил лошадьё и слегка покачивался. Половину дороги пришлось ему ехать лесом.

«Что за черт? – подумал он, подъезжая к имению, в котором он был управляющим. – Никак кто лес рубит!»

Из чащи леса доносились до ушей Ржевецкого стук и треск ветвей. Ржевецкий наострил уши, подумал, выбранился, неловко слез с беговых дрожек и пошел в чащу.

Семен Журкин сидел на земле и топором обрубал зеленые ветви. Около него лежали три срубленные ольхи. В стороне стояла лошадь, впряженная в дроги, и ела траву. Ржевецкий увидел Семена. Вмиг с него слетели и хмель и дремота. Он побледнел и подскочил к Семену.

– Ты что же это делаешь? а? – закричал он.

– Ты что же это делаешь? а? – ответило эхо.

Но Семен ничего не отвечал. Он закурил трубку и продолжал свою работу.

– Что ты делаешь, подлец, я тебя спрашиваю?

– Не видишь разве? Повылазило у тебя нешто?

– Что-о-о? Что ты сказал? I Повтори!

– То сказал, что ступай мимо!

– Что, что, что?

– Мимо ступай! Кричать нечего...

Ржевецкий покраснел и пожал плечами.

– Каков? Да как ты смеешь?

– Так вот и смею. Да ты-то что? Не испужался! Много вас! Ежели каждого ублажать, так на это много нужно...

– Как ты смеешь лес рубить? Он твой?

– И не твой.

Ржевецкий поднял нагайку и не ударил Семена только потому, что тот указал ему на топор.

– Не знаешь ли ты, негодяй, чей это лес?

– Знаю, пане! Стрельчихин лес, с Стрельчихой и говорить буду. Ее лес, ей и отвечать стану. А ты-то что? Лакей! Фициант! Тебя не знаю. Проходи, прохожий! Марш!

Семен постучал трубкой о топор и язвительно улыбнулся.

Ржевецкий побежал к дрожкам, ударил вожжами и стрелой полетел к селу. В селе набрал он понятых и с ними помчался к месту преступления. Понятые застали Семена за его работой. Вмиг закипело дело. Явились староста, подстароста, писарь, сотские. Написали несколько бумаг. Расписался Ржевецкий, заставили расписаться и Семена. Семен только посмеивался...

Перед обедом Семен явился к барыне. Барыня уже знала о порубке. Не поздоровавшись, он начал с того, что жить нельзя, что поляк дерется, что он только три деревца и т. д.

– Как же ты смеешь чужой лес рубить? – вскипела барыня.

– Мучение от него одно только, – промычал Семен, любясь вспышкой барыни и желая во что бы то ни стало донять поляка. – Что ни слово – то тресь! Разве так возможно? Да норовит все по лицу! Этак нельзя... Ведь и мы тоже люди.

– Как ты смеешь мой лес рубить, я тебя спрашиваю? Негодяй!

– Да он вам наврал, барыня! Я, подлинно... рубил... Сознаю... Да зачем он дерется!

В барыне взыграла барская кровь. Она забыла, что Семен брат Степана, забыла свою благовоспитанность, все на свете, и ударила по щеке Семена.

– Убери сейчас же свою мужицкую харю! – закричала она. – Вон! Сию минуту!

Семен сконфузился. Он ни в каком случае не ожидал такого скандала.

– Прощайте-с! – сказал он и глубоко вздохнул. – Что ж делать-с! Что ж!

Семен забормотал и вышел. Даже шапку забыл надеть, когда вышел на двор.

Часа через два к барыне явился Максим. Лицо его было вытянуто, глаза пасмурны. По лицу видно было, что он пришел наговорить или натворить что-нибудь дерзкое.

– Что тебе? – спросила барыня.

– Здравствуйте! Я, барыня, больше насчет того, чтоб вас попросить. Леску бы, барыня.

Степану избу хочу строить, а лесу нету. Досочек бы дали.

– Что ж? Изволь.

Лицо Максима просияло.

– Избу строить нужно, а лесу нету. Последнее дело! Сел щи хлебать, а шей нету. Хе-хе. Досочек... тесу... Тут Семка дерзостей наговорил... Вы уж не сердчайте, барыня. Дурак дураком. Дурь еще из головы не вышла. Народ такой. Так прикажете, барыня, за лесом приезжать?

– Приезжай.

– Так вы Феликсу Адамычу извольте сказать. Дай Бог вам здоровья! Теперь у Степки изба будет.

– Только я дорого возьму, Журкин! Я леса, сам знаешь, не продаю, самой нужен, а если продаю, то дорого.

Лицо Максима вытянулось.

– То есть как?

– Да так. Во-первых, деньги сейчас же, а во-вторых...

– За деньги я не желаю.

– А как ты желаешь?

– Известно как... Сами знаете. Нонче какие у мужика деньги? Грош, да и того нет.

– Даром я не дам.

Максим сжал в кулаке шапку и начал глядеть в потолок.

– Вы это верно говорите? – спросил он, помолчав.

– Верно. Еще имеешь что сказать?

– Что мне говорить? Лесу не даете, так зачем я с вами говорить стану? Прощайте. Только напрасно лесу не даете... Жалеть будете... Мне наплевать, а вы пожалеете... Степан на конюшне?

– Не знаю.

Максим значительно поглядел на барыню, кашлянул, помялся и вышел. Его передернуло от злости.

«Так вот ты какая, шельма!» – подумал он и отправился в конюшню.

В конюшне в это время Степан сидел на скамье и лениво, сидя, чистил бок стоявшей перед ним лошади. Максим не вошел в конюшню, а стал у двери. – Степан! – сказал он.

Степан не отвечал, не взглянул на отца. Лошадь пошатнулась.

– Собирайся домой! – сказал Максим.

– Не желаю.

– Можешь ли ты мне это говорить?

– Значит, могу, коли говорю.

– Я приказываю!

Степан вскочил и захлопнул конюшенную дверь перед носом Максима.

Вечером к Степану прибежал из деревни мальчик и рассказал ему, что Максим выгнал Марью из дома и что Марья не знает, где ей переночевать.

– Она теперь сидит около церкви и плачет, – рассказывал мальчишка, – а вокруг нее народ собрался да тебя ругает.

На другой день утром, когда в барском доме еще спали, Степан надел свою старую одежду и пошел в деревню. Звонили к обедне. Утро было воскресное, светлое, веселое: только бы жить да радоваться! Степан прошел мимо церкви, тупо взглянул на колокольню и зашагал к кабаку. Кабак открывается, к несчастью, раньше, чем церковь. Когда он вошел в кабак, у прилавка уже торчали пьющие.

– Водки! – скомандовал Степан.

Ему налили водки. Он выпил, посидел и еще выпил. Степан опьянел и стал подносить. Началась шумная попойка.

– Много ты у Стрельчихи жалованья получаешь? – спросил Сидор.

– Сколько следует. Пей, осел!

– Доброе дело. С праздником, Степан Максимович! С воскресным днем! А вы что же?

– И я... И я пью...

– Очень приятно... Все это, собственно говоря, очень благополучно и обольстительно, Степан Максимыч! А дозволяете вас спросить, рублей десять получаете?

– Ха-ха! Разве можно барину на десять целковых прожить? Что ты? Он сто получает!

Степан посмотрел на сказавшего это и узнал в нем брата Семена, который сидел в углу на скамье и пил. Из-за Семена выглядывала пьянеющая физиономия дьячка Манафуилова и преехидно улыбалась.

– Позвольте вас спросить, господин, – заговорил Семен, снимая шапку, – у барыни хорошие лошади или нет? Вам нравятся?

Степан молча налил себе водки и молча выпил.

– Должно быть, очень хорошие, – продолжал Семен. – Только жаль, что кучера нет, без кучера не того...

Манафуилов подошел к Степану и покачал головой.

– Ты... Ты... свинья! – сказал он. – Свинья! И тебе не грех? Православные! Ему не грех? А что в Писании сказано, а?

– Отстань! Дурь!

– Дурь... Ты зато умный. Кучер, а не при лошадях. Хе-хе... Она вам и кофию дает?

Степан размахнулся и ударил бутылкой по большой голове Манафуилова. Манафуилов пошатнулся и продолжал:

– Любовь! Какое это чувство... Фф... Жаль, повенчаться нельзя. Баринком был бы! А из него, ребята, славный барин вышел бы! Строгий барин, развитой!

Послышался хохот. Степан размахнулся и в другой раз ударил бутылкой по той же голове. Манафуилов пошатнулся и на этот раз упал.

– Ты чего же это дерешься? – закричал Семен, наступая на брата. – Повенчайся – тогда и дерись! Ребята, чего он дерется? Чего ты дерешься, я спрашиваю?

Семен прищурил глаза, взял Степана за грудь и ударил его под ложечку. Поднялся Манафуилов и замахал своими длинными пальцами перед глазами Степана.

– Ребята! Драка! Ей-Богу, драка! Напирай!

В кабаке зашумели. Говор смешался со смехом.

У кабацких дверей столпился народ. Степан схватил Манафуилова за воротник и швырнул его в дверь. Дьячок взвизгнул и шаром покатился по ступеням. Захохотали сильнее. Народу набилось в кабак полнехонько. Сидор вмешался не в свое дело и, сам не зная за что, ударил Степана по спине. Степан схватил Семена за плечо и швырнул его в дверь. Семен ударился головой о косяк, сбежал по ступенькам и упал мокрым лицом в пыль. К нему подскочил брат и заплясал на его животе. Он заплясал с остервенением, с наслаждением, высоко подпрыгивая. Прыгал он долго...

Зазвонили «Достойно». Степан посмотрел кругом. Вокруг него торчали смеющиеся рожи: одна другой пьяней и веселей. Множество рож! С земли поднимался растрепанный,

окровавленный Семен с сжатыми кулаками, с зверским лицом. Манафуилов лежал в пыли и плакал. Пыль облепила его глаза. Кругом и около было черт знает что!

Степан встрепенулся, побледнел и побежал как сумасшедший. За ним погнались.

– Лови! Лови! – закричали ему вслед. – Держи! Убил!

Степана охватил ужас. Ему показалось, что если его догонят, то непременно убьют. Он побежал быстрее.

– Лови! Держи!

Он, сам того не замечая, добежал до отцовского дома. Ворота были открыты настежь, и обе половинки их покачивались от ветра... Он вбежал во двор.

На куче щепы и стружек в трех шагах от ворот сидела его Марья. Поджав под себя ноги и протянув вперед свои обессиленные руки, она не отрывала глаз от земли. При виде Марьи в взбудораженных и опьяненных мозгах Степана вдруг мелькнула светлая мысль...

Бежать отсюда, бежать подальше с этой бледной как смерть, забитой, горячо любимой женщиной. Бежать подальше от этих извергов, в Кубань, например... А как хороша Кубань! Если верить письмам дяди Петра, то какое чудное приволье на кубанских степях! И жизнь там шире, и лето длиннее, и народ удалее... На первых порах они, Степан и Марья, в работниках будут жить, а потом и свою земельку заведут. Там не будет с ними ни лысого Максима с цыганскими глазами, ни ехидно и пьяно улыбающегося Семена...

С этой мыслью он подошел к Марье и остановился перед ней... А голова между тем кружилась от хмеля, в глазах мелькали цветные пятна, во всем теле чувствовалась боль... Он едва стоял на ногах...

– В Кубань... того... – проговорил он, чувствуя, что его язык теряет способность говорить... – В Кубань... К дядьке Петру... Знаешь? Что письма писал...

Но не тут-то было! Разлетелась в пух и прах Кубань... Марья подняла свои умоляющие глаза на его бледное шальное лицо, наполовину закрытое давно уже не чесанными волосами, и поднялась... Губы ее задрожали...

– Это ты, разбойник? – заголосила она. – Ты? Рожу, знать, в кабаке раскроили? Проклятый! Мучитель ты мой. Пущай тебе на том свете так будет, злодею, как ты высосал меня всю! Убил ты меня, сироту!

– Молчи!

– Лютые! Не жалеете вы души христианской! Замучили всю, разбойники... Душегубец ты, Степка! Матерь Божия накажет тебя! Постой! Задаром тебе это самое не пройдет! Ты думаешь, что только одна я мучаюсь? И не думай... И ты помучишься...

Степан замигал глазами и пошатнулся.

– Молчи! Ну, Христа ради!

– Пьяница! Знаю, на чьи деньги ты пьян... Знаю, разбойник! От радости пьешь? Знать, весело?

– Молчи! Машка! Ну...

– А пришел чего? Чего надо? Похвастать пришел? И без хвастанья знаем... Весь мир знает... Глаза, небось, целый день тобой колют, окаянный...

Степан топнул ногой, пошатнулся и, сверкая глазами, толкнул локтем Марью...

– Молчи, говорят! Не хватай за сердце!

– Буду говорить! Ты драться? Ну что ж... Бей... Бей сироту. Один конец... Какой ласки ждать? Знай бей... Добивай, разбойник! На что я нужна тебе? У тебя барыня есть... Богатая... Красивая... Я хамка, а она дворянка... Чего ж не бьешь, разбойник?

Степан размахнулся и изо всей силы ударил кулаком по исказившемуся от гнева лицу Марьи. Пьяный удар пришелся по виску. Марья пошатнулась и, не издав ни одного звука, повалилась на землю. В то время, когда она падала, Степан ударил ее еще раз по груди.

Муж нагнулся к теплому, но уже умершему телу жены, поглядел мутными глазами на ее исстрадавшееся лицо и, ничего не понимая, сел возле трупа.

Солнце поднялось уже над избами и жгло. Ветер стал горячим. В знойном воздухе повисла угнетающая тоска, когда дрожащий народ густой толпой окружил Степана и Марью... Видели, понимали, что здесь убийство, и глазам не верили. Степан обводил мутными глазами толпу, скрежетал зубами и бормотал бессвязные слова. Никто не брался связать Степана. Максим, Семен и Манафуилов стояли в толпе и жались друг к другу.

– За что он ее? – спрашивали они, бледные как смерть.

Мать бегала вокруг и голосила...

Доложили о случившемся барыне. Барыня ахнула, ухватила за пузырек со спиртом, но без чувств не упала.

– Ужасный народ! – зашептала она. – Ах, какой народ! Негодяи! Хорошо же! Я им покажу! Они узнают теперь, что я за птица!

Утешать явился Ржевецкий. Он утешил барыню и занял опять свое место, отнятое у него капризной барыней для Степана. Место доходное, теплое и самое для него подходящее. Десять раз в год его прогоняли с этого места и десять раз платили ему отступного. Платили немало.

Дочь Альбиона

К дому помещика Грябова подкатила прекрасная коляска с каучуковыми шинами, толстым кучером и бархатным сиденьем. Из коляски выскочил уездный предводитель дворянства Федор Андреич Отцов. В передней встретил его сонный лакей.

– Господа дома? – спросил предводитель.

– Никак нет-с. Барыня с детьми в гости поехали, а барин с мамзелью-гувернаткой рыбу ловят-с. С самого утра-с.

Отцов постоял, подумал и пошел к реке искать Грябова. Нашел он его версты за две от дома, подойдя к реке. Поглядев вниз с крутого берега и увидев Грябова, Отцов приснул... Грябов, большой, толстый человек с очень большой головой, сидел на песочке, поджав под себя по-турецки ноги, и удил. Шляпа у него была на затылке, галстук сполз набок. Возле него стояла высокая, тонкая англичанка с выпуклыми рачьими глазами и большим птичьим носом, похожим скорей на крючок, чем на нос. Одетая она была в белое кисейное платье, сквозь которое сильно просвечивали тощие, желтые плечи. На золотом поясе висели золотые часики. Она тоже удила. Вокруг обоих царил гробовая тишина. Оба были неподвижны, как река, на которой плавали их поплавки.

– Охота смертная, да участь горькая! – засмеялся Отцов. – Здравствуй, Иван Кузьмич!

– А... это ты? – спросил Грябов, не отрывая глаз от воды. – Приехал?

– Как видишь... А ты все еще своей ерундой занимаешься! Не отвык еще?

– Кой черт... Весь день ловлю, с утра... Плохо что-то сегодня ловится. Ничего не поймал ни я, ни эта кикимора. Сидим, сидим, и хоть бы один черт! Просто хоть караул кричи.

– А ты наплюй. Пойдем водку пить!

– Постой... Может быть, что-нибудь да поймаем. Под вечер рыба клюет лучше... Сижу, брат, здесь с самого утра! Такая скучища, что и выразить тебе не могу. Дернул же меня черт привыкнуть к этой ловле! Знаю, что чепуха, а сижу! Сижу, как подлец какой-нибудь, как каторжный, и на воду гляжу, как дурак какой-нибудь! На покос надо ехать, а я рыбу ловлю. Вчера в Хапоньеве преосвященный служил, а я не поехал, здесь просидел вот с этой стерлядью... с чертовкой с этой...

– Но... ты с ума сошел? – спросил Отцов, конфузливо косясь на англичанку. – Бранишься при даме... и ее же...

– Да черт с ней! Все одно, ни бельмеса по-русски не смыслит. Ты ее хоть хвали, хоть брани – ей все равно! Ты на нос посмотри! От одного носа в обморок упадешь! Сидим по целым дням вместе, и хоть бы одно слово! Стоит, как чучело, и бельмы на воду тарашит.

Англичанка зевнула, переменяла червячка и закинула удочку.



– Удивляюсь, брат, я немало! – продолжал Грябов. – Живет дурища в России десять лет, и хоть бы одно слово по-русски!.. Наш какой-нибудь аристократишка поедет к ним и живо по-ихнему брехать научится, а они... черт их знает! Ты посмотри на нос! На нос ты посмотри!

– Ну, перестань... Неловко... Что напал на женщину?

– Она не женщина, а девица... О женихах небось мечтает, чертова кукла. И пахнет от нее какую-то гнилью... Возненавидел, брат, ее! Видеть равнодушно не могу! Как взглянет на меня своими глазищами, так меня и покоробит всего, словно я локтем о перила ударился. Тоже

любит рыбу ловить. Погляди: ловит и священнодействует! С презрением на все смотрит... Стоит, каналья, и сознает, что она человек и что, стало быть, она царь природы. А знаешь, как ее зовут? Уилька Чарльзовна Тфайс! Тьфу!.. и не выговоришь!

Англичанка, услышав свое имя, медленно повела нос в сторону Грябова и измерила его презрительным взглядом. С Грябова подняла она глаза на Отцова и его облила презрением. И все это молча, важно и медленно.

– Видал? – спросил Грябов, хохоча. – Натe, мол, вам! Ах ты, кикимора! Для детей только и держу этого тритона. Не будь детей, я бы ее и за десять верст к своему имению не подпустил... Нос точно у ястреба... А талия? Эта кукла напоминает мне длинный гвоздь. Так, знаешь, взял бы и в землю вбил. Постой... У меня, кажется, клюет...

Грябов вскочил и поднял удилице. Леска натянулась... Грябов дернул еще раз и не вытащил крючка.

– Зацепилась! – сказал он и поморщился. – За камень, должно быть... Черт возьми...

На лице у Грябова выразилось страдание. Вздыхая, беспокойно двигаясь и бормоча проклятья, он начал дергать за лесу. Дерганье ни к чему не привело. Грябов побледнел.

– Экая жалость! В воду лезть надо.

– Да ты брось!

– Нельзя... Под вечер хорошо ловится... Ведь этакая комиссия, прости Господи! Придется лезть в воду. Придется! А если бы ты знал, как мне не хочется раздеваться! Англичанку-то турнуть надо... При ней неловко раздеваться. Все-таки ведь дама!

Грябов сбросил шляпу и галстук.

– Мисс... э-э-э... – обратился он к англичанке. – Мисс Тфайс! Же ву при... Ну, как ей сказать? Ну, как тебе сказать, чтобы ты поняла? Послушайте... туда! Туда уходите! Слышишь?

Мисс Тфайс облила Грябова презрением и издала носовой звук.

– Что-с? Не понимаете? Ступай, тебе говорят, отсюда! Мне раздеваться нужно, чертова кукла! Туда ступай! Туда!

Грябов дернул мисс за рукав, указал ей на кусты и присел: ступай, мол, за кусты и спрячься там. Англичанка, энергически двигая бровями, быстро проговорила длинную английскую фразу. Помещики прыснули.

– Первый раз в жизни ее голос слышу... Нечего сказать, голосок! Не понимает! Ну, что мне делать с ней?

– Плюнь! Пойдем водки выпьем!

– Нельзя, теперь ловиться должно... Вечер... Ну, что ты прикажешь делать? Вот комиссия! Придется при ней раздеваться...

Грябов сбросил сюртук и жилет и сел на песок снимать сапоги.

– Послушай, Иван Кузьмич, – сказал предводитель, хохоча в кулак. – Это уж, друг мой, глумление, издевательство.

– Ее никто не просит не понимать! Это наука им, иностранцам!

Грябов снял сапоги, панталоны, сбросил с себя белье и очутился в костюме Адама. Отцов ухватился за живот. Он покраснел и от смеха, и от конфуза. Англичанка задвигала бровями и замигала глазами... По желтому лицу ее пробежала надменная, презрительная улыбка.

– Надо остынуть, – сказал Грябов, хлопая себя по бедрам. – Скажи на милость, Федор Андреич, отчего это у меня каждое лето сыпь на груди бывает?

– Да полезай скорей в воду или прикройся чем-нибудь! Скотина!

– И хоть бы сконфузилась, подлая! – сказал Грябов, полезая в воду и крестясь. – Брр... холодная вода... Посмотри, как бровями двигает! Не уходит... Выше толпы стоит! Хе-хе-хе... И за людей нас не считает!

Войдя по колена в воду и вытянувшись во весь свой громадный рост, он мигнул глазом и сказал:

– Это, брат, ей не Англия!

Мисс Тфайс хладнокровно переменяла червячка, зевнула и закинула удочку. Отцов отвернулся. Грябов отцепил крючок, окунулся и с сопеньем вылез из воды. Через две минуты он сидел уже на песочке и опять удил рыбу.

Невидимые миру слезы (Рассказ)

– Теперь, господа особы, недурно бы поужинать, – сказал воинский начальник Ребротесов, высокий и тонкий, как телеграфный столб, подполковник, выходя с компанией в одну августовскую ночь из клуба. – В хороших городах, в Саратове, например, в клубах всегда ужин получить можно, а у нас, в нашем вонючем Червянске, кроме водки да чая с мухами, ни бельмеса не получишь. Хуже нет ничего, ежели ты выпивши и закусить нечем!

– Да, недурно бы теперь что-нибудь этакое... – согласился инспектор духовного училища Иван Иванович Двоеточиев, кутаясь от ветра в рыженькое пальто. – Сейчас два часа, и трактиры заперты, а недурно бы этак селедочку... грибочков, что ли... или чего-нибудь вроде этакого, знаете...

Инспектор пошевелил в воздухе пальцами и изобразил на лице какое-то кушанье, вероятно, очень вкусное, потому что все, глядевшие на лицо, облизнулись. Компания остановилась и начала думать. Думала-думала и ничего съедобного не выдумала. Пришлось ограничиться одними только мечтаниями.

– Важную я вчера у Голопесова индейку ел! – вздохнул помощник исправника Пружина-Пружинский. – Между прочим, вы были, господа, когда-нибудь в Варшаве?

Там этак делают... Берут карасей обыкновенных, еще живых... животрепещущих – и в молоко... День в молоке они, сволочи, поплавают, и потом как их в сметане на скворчащей сковородке изжарят, так потом, братец ты мой, не надо твоих ананасов! Ей-Богу... Особливо, ежели рюмку выпьешь, другую. Ешь и не чувствуешь... в каком-то забытьи... от аромата одного умрешь!..

– И ежели с просоленными огурчиками... – добавил Ребротесов тоном сердечного участия. – Когда мы в Польше стояли, так, бывало, пельменей этих за раз штук двести в себя вопрешь... Наложить их полную тарелку, поперчишь, укропцем с петрушкой посыплешь и... нет слов выразить!

Ребротесов вдруг остановился и задумался: Ему вспомнилась стерляжья уха, которую он ел в 1856 году в Троицкой лавре. Память об этой ухе была так вкусна, что воинский начальник почувствовал вдруг запах рыбы, бессознательно пожевал и не заметил, как в калоши его набралась грязь.

– Нет, не могу! – сказал он. – Не могу дольше терпеть! Пойду к себе и удовлетворюсь. Вот что, господа, пойдете-ка и вы ко мне! Ей-Богу! Выпьем по рюмочке, закусим, чем Бог послал. Огурчика, колбаски... самоварчик изобразим... А? Закусим, про холеру поговорим, старину вспомним... Жена спит, но мы ее и будить не станем... потихоньку... Пойдемте!

Восторг, с которым было принято это приглашение, не нуждается в описании. Скажу только, что никогда в другое время Ребротесов не имел столько доброжелателей, как в эту ночь.

– Я тебе уши оборву! – сказал воинский начальник денщику, вводя гостей в темную переднюю. – Тысячу раз говорил тебе, мерзавцу, чтобы, когда спишь в передней, всегда курил благовонной бумажкой! Поди, дурак, самовар поставь и скажи Ирине, чтобы она тово... принесла из погреба огурцов и редьки... Да почисть селедочку... Луку в нее покроши зеленого да укропцем посыплешь этак... знаешь, и картошки кружочками нарежешь... И свеклы тоже... Все это уксусом и маслом, знаешь, и горчицы туда... Перцем сверху поперчишь... Гарнир, одним словом... Понимаешь?

Ребротесов пошевелил пальцами, изображая смешение, и мимикой добавил к гарниру то, чего не мог добавить в словах... Гости сняли калоши и вошли в темную залу. Хозяин чиркнул

спичкой, навонял серой и осветил стены, украшенные премиями «Нивы», видами Венеции и портретами писателя Лажечникова и какого-то генерала с очень удивленными глазами.

– Мы сейчас... – зашептал хозяин, тихо поднимая крылья у стола. – Соберу вот на стол и сядем... Маша моя что-то больна сегодня. Уж вы извините... Женское что-то... Доктор Гусин говорит, что это от постной нищи... Очень может быть! «Душенька, говорю, дело ведь не в пище! Не то, что в уста, а то, что из уст, говорю... Постное, говорю, ты кушаешь, а раздражаешься по-прежнему... Чем плоть свою удручать, ты лучше, говорю, не огорчайся, не произноси слов...» И слушать не хочет! «С детства, говорит, мы приучены».

Вошел денщик и, вытянув шею, прошептал что-то хозяину на ухо. Ребротесов пошевелил бровями...

– М-да... – промычал он. – Гм... тэк-с... Это, впрочем, пустяки... Я сейчас, в одну минуту... Маша, знаете ли, погреб и шкафы заперла от прислуги и ключи к себе взяла. Надо пойти взять...

Ребротесов поднялся на цыпочки, тихо отворил дверь и вошел к жене... Жена его спала.

– Машенька! – сказал он, осторожно приблизившись к кровати. – Проснись, Машуня, на секундочку!

– Кто? Это ты? Чего тебе?

– Я, Машенька, относительно вот чего... Дай, ангелочек, ключи и не беспокойся... Спи себе... Я сам с ними похлопочу... Дам им по огурчику и больше расходовать ничего не буду... Побей меня Бог. Двоеточиев, знаешь, Пружина-Пружинский и еще некоторые... Прекрасные все люди... уважаемые обществом... Пружинский даже Владимира четвертой степени имеет... Он уважает тебя так...

– Ты где это так нализался?

– Ну вот ты уже и сердисься... Какая ты, право... Дам им по огурчику, вот и все... И уйдут... Я сам распоряджусь, а тебя и не побеспокою... Лежи себе, куколка... Ну, как твое здоровье? Был Гусин без меня? Даже вот ручку поцелую... И гости все уважают тебя так... Двоеточиев религиозный человек, знаешь... Пружина, казначей тоже. Все относятся к тебе так... «Марья, говорят, Петровна – это, говорят, не женщина, а нечто, говорят, неудобопонятное... Светило нашего уезда».

– Ложись! Будет тебе городить! Налижется там в клубе со своими шалаберниками, а потом и бурлит всю ночь! Постыдился бы! Детей имеешь!

– Я... детей имею, но ты не раздражайся. Манечка... не огорчайся... Я тебя ценю и люблю... И детей, Бог даст, пристрою. Митю вот в гимназию повезу... Тем более, что я их не могу прогнать... Неловко... Зашли за мной и попросили есть. «Дайте, говорят, нам поесть...» Двоеточиев, Пружина-Пружинский... милые такие люди... Сочувствуют тебе, ценят. По огурчику дать им, по рюмке и... пусть себе с Богом... Я сам распоряджусь.

– Вот наказание! Ошалел ты, что ли? Какие гости в такую пору? Постыдились бы они, черти рваные, по ночам людей беспокоить! Где это видано, чтоб ночью в гости ходили?... Трактир им здесь, что ли? Дура буду, ежели ключи дам! Пусть проспятся, а завтра и приходят!

– Гм... Так бы и сказала... И унижаться бы перед тобой не стал... Выходит, значит, что ты не подруга жизни, не утешительница своего мужа, как сказало в Писании, а... неприлично выразиться... Змеей была, змея и есть...

– А-а... так ты еще ругаться, язва?

Супруга приподнялась, и... воинский начальник почесал щеку и продолжал:

– Мерси... Правду раз читал я в одном журнале: «В людях – ангел, не жена, дома с мужем – сатана»... Истинная правда... Сатаной была, сатана и есть...

– На же тебе!

– Дерись, дерись... Бей единственного мужа! Ну, на коленях прошу... Умоляю... Манечка! Прости ты меня!.. Дай ключи! Манечка! Ангел! Лютое существо, не срами ты меня

перед обществом! Варварка ты моя, до каких же пор ты будешь меня мучить? Дерись... Бей... Мерси... Умоляю наконец!

Долго беседовали такими образом супруги... Ребротесов становился на колени, два раза плакал, бранился, то и дело почесывал щеку... Кончилось тем, что супруга поднялась, плюнула и сказала:

– Вижу, что конца не будет моим мучениям! Поддай со стула мое платье, махнет!

Ребротесов бережно подал ей платье и, поправив свою прическу, пошел к гостям. Гости стояли перед изображением генерала, глядели на его удивленные глаза и решали вопрос: кто старше – генерал или писатель Лажечников? Двоеточиев держал сторону Лажечникова, напирая на бессмертие, Пружинский же говорил:

– Писатель-то он, положим, хороший, спору нет... и смешно пишет и жалостно, а отправь-ка его на войну, так он там и с ротой не справится, а генералу хоть целый корпус давай, так ничего...

– Моя Маша сейчас... – перебил спор вошедший хозяин. – Сию минуту...

– Мы вас беспокоим, право... Федор Акимыч, что у вас со щекой? Батюшка, да у вас и под глазом синяк! Где это вы угостились?

– Щека? Где щека? – сконфузился хозяин. – Ах, да! Подкрадываюсь я сейчас к Манечке, хочу ее испугать, да как стукнусь в потемках о кровать! Ха-ха... Но вот и Манечка... Какая ты у меня растрепё, Манюня! Чистая Луиза Мишель!

В залу вошла Марья Петровна, растрепанная, сонная, но сияющая и веселая.

– Вот это мило с вашей стороны, что зашли! – заговорила она. – Если днем не ходите, то спасибо мужу, что хоть ночью затащил. Сплю сейчас и слышу голоса... Кто бы это мог быть? думаю... Федя велел мне лежать, не выходить, ну, а я не вытерпела...

Супруга сбегала на кухню, и ужин начался...

– Хорошо быть женатым! – вздыхал Пружина-Пружинский, выходя через час с компанией из дома воинского начальника. – И ешь, когда хочешь, и пьешь, когда захочется... Знаешь, что есть существо, которое тебя любит... И на фортепьянах сыграет что-нибудь этакое... Счастлив Ребротесов!

Двоеточиев молчал. Он вздыхал и думал. Придя домой и раздеваясь, он так громко вздыхал, что разбудил свою жену.

– Не стучи сапогами, жернов! – сказала жена. – Спать не даешь! Налижется в клубе, а потом и шумит, образина!

– Только и знаешь, что бранишься! – вздохнул инспектор. – А поглядела бы ты, как Ребротесовы живут! Господи, как живут! Глядишь на них, и плакать хочется от чувств. Один только я такой несчастный, что ты у меня ягой на свет уродилась. Подвинься!

Инспектор укрылся одеялом и, жалуясь мысленно на свою судьбу, уснул.

Лошадиная фамилия

У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах у него была вата, смоченная в спирту, но все это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор. Он поковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние – жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька предлагали каждый свое средство. Между прочим, и приказчик Булдеева Иван Евсеич пришел к нему и посоветовал полечиться заговором.

– Тут, в нашем уезде, ваше превосходительство, – сказал он, – лет десять назад служил акцизный Яков Васильич. Заговаривал зубы – первый сорт. Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет – и как рукой! Сила ему такая дадена...

– Где же он теперь?

– А после того, как его из акцизных уволили, в Саратове у тещи живет. Теперь только зубами и кормится. Ежели у которого человека заболит зуб, то и идут к нему, помогает... Тамошних саратовских на дому у себя пользуется, а ежели которые из других городов, то по телеграфу.

Пошлите ему, ваше превосходительство, депешу, что так, мол, вот и так... у раба Божьего Алексия зубы болят, прошу выпользовать. А деньги за лечение почтой пошлете.

– Ерунда! Шарлатанство!

– А вы попытайте, ваше превосходительство. До водки очень охотник, живет не с женой, а с немкой, ругатель, но, можно сказать, чудодейственный господин!

– Пошли, Алеша, – взмолилась генеральша. – Ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хотя ты и не веришь, но отчего не послать? Руки ведь не отвалятся от этого.

– Ну, ладно, – согласился Булдеев. – Тут не только что к акцизному, но и к черту депешу пошлешь... Ох! Мочи нет! Ну, где твой акцизный живет? Как к нему писать?

Генерал сел за стол и взял перо в руки.

– Его в Саратове каждая собака знает, – сказал приказчик. – Извольте писать, ваше превосходительство, в город Саратов, стало быть... Его благородию господину Якову Васильичу... Васильичу...

– Ну?

– Васильичу... Якову Васильичу... а по фамилии... А фамилию вот и забыл!.. Васильичу... Черт... Как же его фамилия? Давеча, как сюда шел, помнил... Позвольте-с...

Иван Евсеич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо.

– Ну, что же? Скорей думай!

– Сейчас... Васильичу... Якову Васильичу... Забыл! Такая еще простая фамилия... словно как бы лошадиная... Кобылин? Нет, не Кобылин. Пойдите... Жеребцов нешто? Нет, и не Жеребцов. Помню, фамилия лошадиная, а какая – из головы вышибло...

– Жеребятников?

– Никак нет. Пойдите... Кобылицын... Кобылятников... Кобелев...

– Это уж собачья, а не лошадиная. Жеребчиков?

– Нет, и не Жеребчиков... Лошадинин... Лошаков... Жеребкин... Все не то!

– Ну, так как же я буду ему писать? Ты подумай!

– Сейчас. Лошадкин... Кобылкин... Коренной...

– Коренников? – спросила генеральша.

– Никак нет. Пристяжкин... Нет, не то! Забыл!

– Так зачем же, черт тебя возьми, с советами лезешь, ежели забыл? – рассердился генерал. – Ступая отсюда вон!

Иван Евсеич медленно вышел, а генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам.

– Ой, батюшки! – вопил он. – Ой, матушки! Ох, света белого не вижу!

Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию акцизного:

– Жеребчиков... Жеребковский... Жеребенко... Нет, не то! Лошадинский... Лошадевич... Жеребкович... Кобылянский...

Немного погодя его позвали к господам.

– Вспомнил? – спросил генерал.

– Никак нет, ваше превосходительство.

– Может быть, Конявский? Лошадников? Нет?

И в доме, все наперерыв, стали изобретать фамилии. Перебрали все возрасты, полы и породы лошадей, вспомнили гриву, копыта, сбрую... В доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию...

Приказчика то и дело требовали в дом.

– Табунов? – спрашивали у него. – Копытин? Жеребовский?

– Никак нет, – отвечал Иван Евсеич и, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух: – Коненко... Конченко... Жеребеев... Кобылеев...

– Папа! – кричали из детской. – Тройкин! Уздечкин!

Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый, замученный генерал пообещал дать пять рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию, и за Иваном Евсеичем стали ходить целыми толпами...

– Гнедов! – говорили ему. – Рысистый! Лошадицкий!

Но наступил вечер, а фамилия все еще не была найдена. Так и спать легли, не послав телеграммы.

Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стонал... В третьем часу утра он вышел из дому и постучался в окно к приказчику.

– Не Меринов ли? – спросил он плачущим голосом.

– Нет, не Меринов, ваше превосходительство, – ответил Иван Евсеич и виновато вздохнул.

– Да, может быть, фамилия не лошадиная, а какая-нибудь другая!

– Истинно слово, ваше превосходительство, лошадиная... Это очень даже отлично помню.

– Экий ты какой, братец, беспамятный... Для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на свете. Замучился!

Утром генерал опять послал за доктором.

– Пускай рвет! – решил он. – Нет больше сил терпеть...

Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль утихла тотчас же, и генерал успокоился. Сделав свое дело и получив, что следует, за труд, доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеича... Приказчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившим его лоб, и по выражению глаз, думы его были напряженны, мучительны...

– Буланов... Чересседельников... – бормотал он. – Засупонин... Лошадский...

– Иван Евсеич! – обратился к нему доктор. – Не могу ли я, голубчик, купить у вас четвертей пять овса? Мне продают наши мужики овес, да уж больно плохой...

Иван Евсеич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыбнулся и, не сказав в ответ ни одного слова, всплеснув руками, побежал к усадьбе с такой быстротой, точно за ним гналась бешеная собака.

– Надумал, ваше превосходительство! – закричал он радостно, не своим голосом, влетая в кабинет к генералу. – Надумал, дай Бог здоровья доктору! Овсов! Овсов фамилия акцизного! Овсов, ваше превосходительство! Посылайте депешу Овсову!

– Накося! – сказал генерал с презрением и поднес к лицу его два кукиша. – Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии! Накося!

Злоумышленник

Перед судебным следователем стоит маленький, чрезвычайно тощий мужичонка в пестрядиной рубахе и лаганных портах. Его обросшее волосами и изъеденное рябинами лицо и глаза, едва видные из-за густых, нависших бровей, имеют выражение угрюмой суровости. На голове целая шапка давно уже не чесанных, путанных волос, что придает ему еще большую, паучью суровость. Он бос.

– Денис Григорьев! – начинает следователь. – Подойди поближе и отвечай на мои вопросы. Седьмого числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акинфов, проходя утром по линии, на сто сорок первой версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, коей рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка!.. С каковою гайкой он и задержал тебя. Так ли это было?

– Чаво?

– Так ли все это было, как объясняет Акинфов?

– Знамо, было.

– Хорошо; ну, а для чего ты отвинчивал гайку?

– Чаво?

– Ты это свое «чаво» брось, а отвечай на вопрос: для чего ты отвинчивал гайку?

– Коли б не нужна была, не отвинчивал бы, – хрипит Денис, косясь на потолок.

– Для чего же тебе понадобилась эта гайка?

– Гайка-то? Мы из гаек грузила делаем...

– Кто это – мы?

– Мы, народ... Климовские мужики то есть.

– Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком. Нечего тут про грузила врать!

– Отродясь не врал, а тут вру... – бормочет Денис, мигая глазами. – Да нешто, ваше благородие, можно без грузила? Ежели ты живца или выполозка на крючок сажаешь, то нешто он пойдет ко дну без грузила? Вру... – усмехается Денис. – Черт ли в нем, в живце-то, ежели поверху плавать будет! Окунь, щука, налим завсегда на донную идет, а которая ежели поверху плавает, то ту разве только шилишпер схватит, да и то редко... В нашей реке не живет шилишпер... Эта рыба простор любит.

– Для чего ты мне про шилишпера рассказываешь?

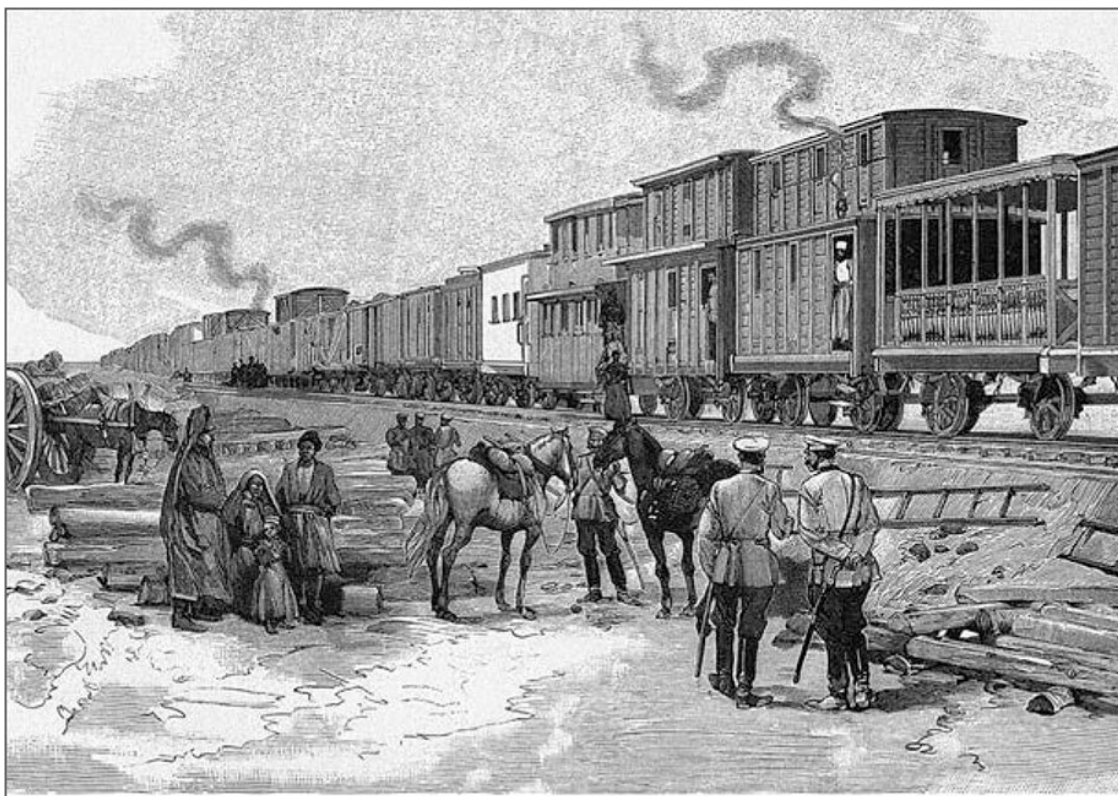
– Чаво? Да ведь вы сами спрашиваете! У нас и господа так ловят. Самый последний мальчишка не станет тебе без грузила ловить. Конечно, который непонимающий, ну, тот и без грузила пойдет ловить. Дураку закон не писан...

– Так ты говоришь, что ты отвинтил эту гайку для того, чтобы сделать из нее грузило?

– А то что же? Не в бабки ж играть!

– Но для грузила ты мог взять свинец, пулю... гвоздик какой-нибудь...

– Свинец на дороге не найдешь, купить надо, а гвоздик не годится. Лучше гайки и не находить... И тяжелая, и дыра есть.



– Дураком каким прикидывается! Точно вчера родился или с неба упал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это отвинчивание? Не догляди сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов, людей бы убило! Ты людей убил бы!

– Избави Господи, ваше благородие! Зачем убивать? Нешто мы некрещенные или злодеи какие? Слава те Господи, господин хороший, век свой прожили и не токмо что убивать, но и мыслей таких в голове не было... Спаси и помилуй, Царица Небесная... Что вы-с!

– А отчего, по-твоему, происходят крушения поездов? Отвинти две-три гайки, вот тебе и крушение!

Денис усмехается и недоверчиво шурит на следователя глаза.

– Ну! Уж сколько лет всей деревней гайки отвинчиваем и хранил Господь, а тут крушение... людей убил... Ежели б я рельсу унес или, положим, бревно поперек ейного пути положил, ну, тогда, пожалуй, своротило бы поезд, а то... тьфу! гайка!

– Да пойми же, гайками прикрепляется рельса к шпалам!

– Это мы понимаем... Мы ведь не все отвинчиваем... оставляем... Не без ума делаем... понимаем...

Денис зевает и крестит рот.

– В прошлом году здесь сошел поезд с рельсов, – говорит следователь. – Теперь понятно, почему...

– Чего изволите?

– Теперь, говорю, понятно, отчего в прошлом году сошел поезд с рельсов... Я понимаю!

– На то вы и образованные, чтобы понимать, милостивцы наши... Господь знал, кому понятие давал... Вы вот и рассудили, как и что, а сторож тот же мужик, без всякого понятия, хватает за шиворот и тащит... Ты рассуди, а потом и тащи! Сказано – мужик, мужицкий и ум... Запишите также, ваше благородие, что он меня два раза по зубам ударил и в груди.

– Когда у тебя делали обыск, то нашли еще одну гайку... Эту в каком месте ты отвинтил и когда?

– Это вы про ту гайку, что под красным сундучком лежала?

– Не знаю, где она у тебя лежала, но только нашли ее. Когда ты ее отвинтил?

– Я ее не отвинчивал, ее мне Игнашка, Семена кривого сын, дал. Это я про ту, что под сундучком, а ту, что на дворе в санях, мы вместе с Митрофаном вывинтили.

– С каким Митрофаном?

– С Митрофаном Петровым... Нешто не слыхали? Невода у нас делает и господам продает. Ему много этих самых гаек требуется. На каждый невод, почитай, штук десять...

– Послушай... Тысяча восемьдесят первая статья Уложения о наказаниях говорит, что за всякое с умыслом учиненное повреждение железной дороги, когда оно может подвергнуть опасности следующий по сей дороге транспорт и виновный знал, что последствием сего должно быть несчастье... понимаешь? знал! А ты не мог не знать, к чему ведет это отвинчивание... он приговаривается к ссылке в каторжные работы.

– Конечно, вы лучше знаете... Мы люди темные... нешто мы понимаем?

– Все ты понимаешь! Это ты врешь, прикидываешься!

– Зачем врать? Спросите на деревне, коли не верите... Без грузила только уклею ловят, а на что хуже пескаря, да и тот не пойдет тебе без грузила.

– Ты еще про шилишпера расскажи! – улыбается следователь.

– Шилишпер у нас не водится... Пушаем леску без грузила поверх воды на бабочку, идет голавль, да и то редко.

– Ну, молчи...

Наступает молчание. Денис переминается с ноги на ногу, глядит на стол с зеленым сукном и усиленно мигает глазами, словно видит перед собой не сукно, а солнце. Следователь быстро пишет.

– Мне идтить? – спрашивает Денис после некоторого молчания.

– Нет. Я должен взять тебя под стражу и отослать в тюрьму.

Денис перестает мигать и, приподняв свои густые брови, вопросительно глядит на чиновника.

– То есть как же в тюрьму? Ваше благородие! Мне некогда, мне надо на ярмарку; с Егора три рубля за сало получить...

– Молчи, не мешай.

– В тюрьму... Было б за что, пошел бы, а то так... здорово живешь... За что? И не крал, кажись, и не дрался... А ежели вы насчет недоимки сомневаетесь, ваше благородие, то не верьте старосте... Вы господина непременно члена спросите... Креста на нем нет, на старосте-то...

– Молчи!

– Я и так молчу... – бормочет Денис. – А что староста набрехал в учете, это я хоть под присягой... Нас три брата: Кузьма Григорьев, стало быть, Егор Григорьев и я, Денис Григорьев...

– Ты мне мешаешь... Эй, Семен! – кричит следователь. – Увести его!

– Нас три брата, – бормочет Денис, когда два дюжих солдата берут и ведут его из камеры. – Брат за брата не ответчик... Кузьма не платит, а ты, Денис, отвечай... Судьи! Помер покойник барин-генерал, царство небесное, а то показал бы он вам, судьям... Надо судить умеючи, не зря... Хоть и высеки, но чтоб за дело, по совести...

Пассажир 1-го класса

Пассажир первого класса, только что пообедавший на вокзале и слегка охмелевший, разлегся на бархатном диване, сладко потянулся и задремал. Подремав не больше пяти минут, он поглядел масляными глазами на своего *vis-a-vis*, ухмыльнулся и сказал:

– Блаженные памяти родители мой любил, чтобы ему после обеда бабы пятки чесали. Я весь в него, с тою, однако, разницею, что всякий раз после обеда чешу себе не пятки, а язык и мозги. Люблю, грешный человек, пустословить на сытый желудок. Разрешаете поболтать с вами?

– Сделайте одолжение, – согласился *vis-a-vis*.

– После хорошего обеда для меня достаточно самого ничтожного повода, чтобы в голову полезли чертовски крупные мысли. Например-с, сейчас мы с вами видели около буфета двух молодых людей, и вы слышали, как один из них поздравлял другого с известностью. «Поздравляю, вы, говорит, уже известность и начинаете завоевывать славу». Очевидно, актеры или микроскопические газетчики. Но не в них дело. Меня, сударь, занимает теперь вопрос, что собственно нужно разуместь под словом *слава* или *известность*? Как по-вашему-с? Пушкин называл славу яркой заплатой на рубище, все мы понимаем ее по-пушкински, то есть более или менее субъективно, но никто еще не дал ясного, логического определения этому слову. Дорого бы я дал за такое определение!

– На что оно вам так понадобилось?

– Видите ли, знай мы, что такое слава, нам, быть может, были бы известны и способы ее достижения, – сказал пассажир первого класса, подумав. – Надо вам заметить, сударь, что когда я был помоложе, я всеми фибрами души моей стремился к известности. Популярность была моим, так сказать, сумасшествием. Для нее я учился, работал, ночей не спал, куска не доедал и здоровье потерял. И кажется, насколько я мог судить беспристрастно, у меня были все данные к ее достижению. Во-первых-с, по профессии я инженер. Пока живу, я построил на Руси десятка два великолепных мостов, соорудил в трех городах водопроводы, работал в России, в Англии, в Бельгии... Во-вторых, я написал много специальных статей по своей части. В-третьих, сударь мой, я с самого детства был подвержен слабости к химии; занимаясь на досуге этой наукой, я нашел способы добывания некоторых органических кислот, так что имя мое вы найдете во всех заграничных учебниках химии. Все время я находился на службе, дослужился до чина действительного статского советника и формуляр имею не замаранный. Не стану утруждать вашего внимания перечислением своих заслуг и работ, скажу только, что я сделал гораздо больше, чем иной известный. И что же? Вот я уже стар, околевать собираюсь, можно сказать, а известен я столь же, как вон та черная собака, что бежит по насыпи.

– Почем знать? Может быть, вы и известны.

– Гм!.. А вот мы сейчас попробуем... Скажите, вы слышали когда-нибудь фамилию Крикунова?

Vis-a-vis поднял глаза к потолку, подумал и засмеялся.

– Нет, не слыхал... – сказал он.

– Это моя фамилия. Вы человек интеллигентный и пожилой, ни разу не слыхали про меня – доказательство убедительное! Очевидно, добиваясь известности, я делал совсем не то, что следовало. Я не знал настоящих способов и, желая схватить славу за хвост, зашел не с той стороны.

– Какие же это настоящие способы?

– А черт их знает! Вы скажете: талант? гениальность? недюжинность? Новее нет, сударь мой... Параллельно со мной жили и делили свою карьеру люди сравнительно со мной пустые, ничтожные и даже дрянные. Работали они в тысячу раз меньше меня, из кожи не лезли, талан-

тами не блистали и известности не добивались, а поглядите на них! Их фамилии то и дело попадают в газетах и в разговорах! Если вам не надоело слушать, то я поясню примером-с. Несколько лет тому назад я делал в городе К. мост. Надо вам сказать, скучища в этом паршивом К. была страшная. Если бы не женщины и не карты, то я с ума бы, кажется, сошел. Ну-с, дело прошлое, сошелся я там скуки ради с одной певичкой. Черт ее знает, все приходили в восторг от этой певички, по-моему же, – как вам сказать? – это была обыкновенная, дюжинная натурашка, каких много. Девочка пустая, капризная, жадная, притом еще и дура. Она много ела, много пила, спала до пяти часов вечера – и больше, кажется, ничего. Ее считали кокеткой, – это была ее профессия, – когда же хотели выразиться о ней литературно, то называли ее актрисой и певицей. Прежде я был завзятым театралом, а потому эта мошенническая игра званием актрисы черт знает как возмущала меня! Называться актрисой или даже певицей моя певичка не имела ни малейшего права. Это было существо совершенно бесталанное, бесчувственное, можно даже сказать, жалкое. Насколько я понимаю, пела она отвратительно, вся же прелесть ее «искусства» заключалась в том, что она дрыгала, когда нужно было, ногой и не конфузилась, когда к ней входили в уборную. Водевили выбирала она обыкновенно переводные, с пением, и такие, где можно было щегольнуть в мужском костюме в обтяжку. Одним словом – тьфу! Ну-с, прошу внимания. Как теперь помню, происходило у нас торжественное открытие движения по вновь устроенному мосту. Был молебен, речи, телеграммы и прочее. Я, знаете ли, мыкался около своего детища и все боялся, как бы сердце у меня не лопнуло от авторского волнения. Дело прошлое, и скромничать нечего, а потому скажу вам, что мост получился у меня великолепный! Не мост, а картина, один восторг! И извольте-ка не волноваться, когда на открытии весь город. «Ну, думал, теперь публика на меня все глаза проглядит. Куда бы спрятаться?» Но напрасно я, сударь мой, беспокоился – увы! На меня, кроме официальных лиц, никто не обратил ни малейшего внимания. Стоят толпой на берегу, глядят, как бараны, на мост, а до того, кто строил этот мост, им и дела нет. И, черт бы их драл, с той поры, кстати сказать, возненавидел я эту нашу почтеннейшую публику. Но будем продолжать. Вдруг публика заволновалась: шу-шу-шу... Лица заулыбались, плечи задвигались. «Меня, должно быть, увидели», – подумал я. Как же, держи карман! Смотрю, сквозь толпу пробирается моя певичка, вслед за нею ватага шалопаев; в тыл всему этому шествию торопливо бегут взгляды толпы. Начался тысячеголосый шепот: «Это такая-то... Прелестна! Обворожительно!» Тут и меня заметили... Двое каких-то молокососов, – должно быть, местные любители сценического искусства, – поглядели на меня, переглянулись и зашептали: «Это ее любовник!» Как это вам понравится? А какая-то плюгавая фигура в цилиндре, с давно не бритой рожей, долго переминалась около меня с ноги на ногу, потом повернулась ко мне со словами:

– Знаете, кто эта дама, что идет по тому берегу? Это такая-то... Голос у нее ниже всякой критики-с, но владеет она им в совершенстве!..

– Не можете ли вы сказать мне, – спросил я плюгавую фигуру, – кто строил этот мост?

– Право, не знаю! – отвечала фигура. – Инженер какой-то!

– А кто, – спрашиваю, – в вашем К. собор строил?

– И этого не могу вам сказать.

Далее я спросил, кто в К. считается самым лучшим педагогом, кто лучший архитектор, и на все мои вопросы плюгавая фигура ответила незнанием.

– А скажите, пожалуйста, – спросил я в заключение, – с кем живет эта певица?

– С каким-то инженером Крикуновым.

Ну, сударь мой, как вам это понравится? Но далее... Миннезингеров и баянов теперь на белом свете нет, и известность делается почти исключительно только газетами. На другой же день после освящения моста с жадностью хватаю местный «Вестник» и ищу в нем про свою особу. Долго бегаю глазами по всем четырем страницам и наконец – вот оно! ура! Начинаю читать: «Вчера, при отличной погоде и при громадном стечении народа, в присутствии его

превосходительства господина начальника губернии такого-то и прочих властей, происходило освящение вновь построенного моста и т. д.». В конце же: «На освящении, блистая красотой, присутствовала, между прочим, любимица к – ой публики, наша талантливая артистка такая-то. Само собою разумеется, что появление ее произвело сенсацию. Звезда была одета, и т. д.». Обо мне же хоть бы одно слово! Хоть полсловечка! Как это ни мелко, но верите ли, я даже заплакал тогда от злости!

Успокоил я себя на том, что провинция-де глупа, с нее и требовать нечего, а что за известностью нужно ехать в умственные центры, в столицы. Кстати, в те поры в Питере лежала одна моя работка, поданная на конкурс. Приближался срок конкурса.

Простился я с К. и поехал в Питер. От К. до Питера дорога длинная, и вот, чтоб скучно не было, я взял отдельное купе, ну... конечно, и певичку. Ехали мы и всю дорогу ели, шампанское пили и – тру-ла-ла! Но вот мы приезжаем в умственный центр. Приехал я туда в самый день конкурса и имел, сударь мой, удовольствие праздновать победу: моя работа была удостоена первой премии. Ура! На другой же день иду на Невский и покупаю на семь гривен разных газет. Спешу к себе в номер, ложусь на диван и, пересиливая дрожь, спешу читать. Пробегаю одну газетину – ничего! Пробегаю другую – ни Боже мой! Наконец, в четвертой насканиваю на такое известие: «Вчера с курьерским поездом прибыла в Петербург известная провинциальная артистка такая-то. С удовольствием отмечаем, что южный климат благотворно подействовал на нашу знакомку; ее прекрасная сценическая наружность...» – и не помню что дальше! Много ниже под этим известием самым мельчайшими петитом напечатано: «Вчера на таком-то конкурсе первой премии удостоен инженер такой-то». Только! И, вдобавок, еще мою фамилию переврали: вместо Крикунова написали Киркунов. Вот вам и умственный центр. Но это не все... Когда я через месяц уезжал из Питера, то все газеты наперерыв толковали о «нашей несравненной, божественной, высокоталантливой» и уж мою любовницу величали не по фамилии, а по имени и отчеству...

Несколько лет спустя я был в Москве. Вызван был я туда собственноручным письмом городского головы по делу, о котором Москва со своими газетами кричит уже более ста лет. Между делом я прочел там в одном из музеев пять публичных лекций с благотворительной целью. Кажется, достаточно, чтобы стать известным городу хотя на три дня, не правда ли? Но, увы! Обо мне не обмолвилась словечком ни одна московская газета. Про пожары, про оперетку, про спящих гласных, про пьяных купцов – про все есть, а о моем деле, проекте, о лекциях – ни гу-гу. А милая московская публика! Еду я на конке... Вагон битком набит; тут и дамы, и военные, и студенты, и курсистки – всякой твари по паре.

– Говорят, что дума вызвала инженера по такому-то делу! – говорю я соседу так громко, чтобы весь вагон слышал. – Вы не знаете, как фамилия этого инженера?

Сосед отрицательно мотнул головой. Остальная публика поглядела на меня мельком и во всех взглядах я прочел «не знаю».

– Говорят, кто-то читает лекции в таком-то музее! – пристаю я к публике, желая завязать разговор. – Говорят, интересно!

Никто даже головой не кивнул. Очевидно, не все слышали про лекции, а госпожи дамы не знали даже о существовании музея. Это бы все еще ничего, но представьте вы, сударь мой, публика вдруг вскакивает и ломит к окнам. Что такое? В чем дело?

– Глядите, глядите! – затолкал меня сосед. – Видите того брюнета, что садится на извозчика? Это известный скороход Кинг!

И весь вагон, захлебываясь, заговорил о скороходах, занимавших тогда московские умы.

Много и других примеров я мог бы привести вам, но, полагаю, и этих довольно. Теперь допустим, что я относительно себя заблуждаюсь, что я хвастунишка и бездарность, но, кроме себя, я мог бы указать вам на множество своих современников, людей замечательных по талантам и трудолюбию, но умерших в неизвестности. Все эти русские мореплаватели, химики,

физики, механики, сельские хозяева – популярны ли они? Известны ли нашей образованной массе русские художники, скульпторы, литературные люди? Иная старая литературная собака, рабочая и талантливая, тридцать три года обивает редакционные пороги, исписывает черт знает сколько бумаги, раз двадцать судится за диффамацию, а все-таки не шагает дальше своего муравейника! Назовите мне хоть одного корифея нашей литературы, который стал бы известен раньше, чем не прошла по земле слава, что он убит на дуэли, сошел с ума, пошел в ссылку, нечисто играет в карты!

Пассажир первого класса так увлекся, что выронил изо рта сигару и приподнялся.

– Да-с, – продолжил он свирепо, – и в параллель этим людям я приведу вам сотни всякого рода певичек, акробатов и шутов, известных даже грудным младенцами. Да-с!

Скрипнула дверь, пахнули сквозняки и в вагон вошла личность угрюмого вида, в крылатке, в цилиндре и синих очках. Личность оглядела места, нахмурилась и прошла дальше.

– Знаете, кто это? – послышался робкий шепот из далекого угла вагона. – Это N. N., известный тульский шулер, привлеченный к суду по делу Y-го банка.

– Вот вам! – засмеялся пассажир первого класса. – Тульского шулера знает, а спросите его, знает ли он Семирадского, Чайковского или философа Соловьева, так он вам башкой замочает... Свинство!

Прошло минуты три в молчании.

– Позвольте вас спросить в свою очередь, – робко закашлял vis-a-vis, – вам известна фамилия Пушкина?

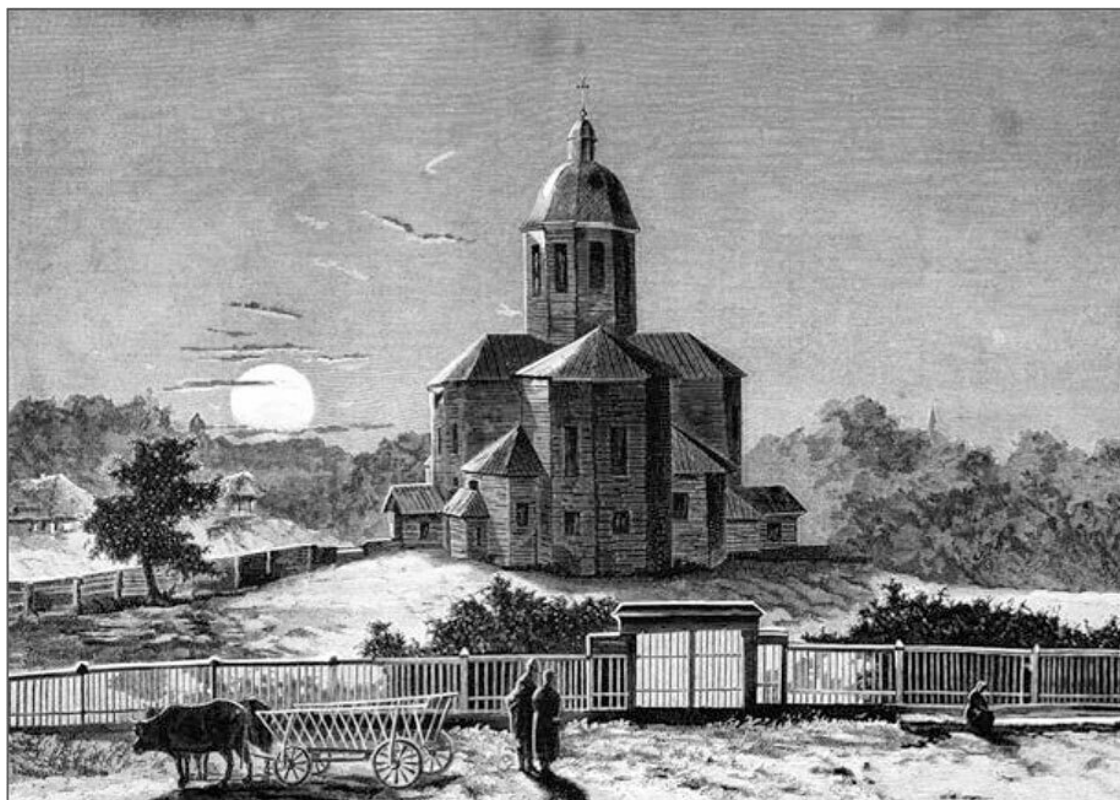
– Пушкина? Гм!.. Пушкина... Нет, не знаю!

– Это моя фамилия... – проговорил vis-a-vis, конфузясь. – Стало быть, не знаете? А я уже тридцать пять лет состою профессором одного из русских университетов... член Академии наук-с... неоднократно печатался...

Пассажир первого класса и vis-a-vis переглянулись и принялись хохотать.

Ведьма

Время шло к ночи. Дьячок Савелий Гыкин лежал у себя в церковной сторожке на громадной постели и не спал, хотя всегда имел обыкновение засыпать в одно время с курами. Из одного края засаленного, сшитого из разноцветных ситцевых лоскутьев одеяла глядели его рыжие жесткие волосы, из-под другого торчали большие, давно не мытые ноги. Он слушал... Его сторожка врезывалась в ограду, и единственное окно ее выходило в поле. А в поле была сущая война. Трудно было понять, кто кого сживал со света и ради чьей гибели заварилась в природе каша, но судя по неумолкаемому, зловещему гулу, кому-то приходилось очень круто. Какая-то побудительная сила гонялась за кем-то по полю, бушевала в лесу и на церковной крыше, злобно стучала кулаками по окну, метала и рвала, а что-то побежденное выло и плакало... Жалобный плач слышался то за окном, то над крышей, то в печке. В нем звучал не призыв на помощь, а тоска, сознание, что уже поздно, нет спасения. Снежные сугробы подернулись тонкой льдяной корой; на них и на деревьях дрожали слезы, по дорогам и тропинкам разливалась темная жижица из грязи и таявшего снега. Одним словом, на земле была оттепель, но небо, сквозь темную ночь, не видело этого и что есть силы сыпало на таявшую землю хлопья нового снега. А ветер гулял, как пьяный... Он не давал этому снегу ложиться на землю и кружил его в потемках, как хотел.



Гыкин прислушивался к этой музыке и хмурился. Дело в том, что он знал, или по крайней мере догадывался, к чему клонилась вся эта возня за окном и чьих рук было это дело.

– Я знаю! – бормотал он, грозя кому-то под одеялом пальцем. – Я все знаю!

У окна, на табурете, сидела дьячиха Раиса Ниловна. Жестяная лампочка, стоявшая на другом табурете, словно робея и не веря в свои силы, лила жиденький, мелькающий свет на ее широкие плечи, красивые, аппетитные рельефы тела, на толстую косу, которая касалась земли.

Дьячиха шила из грубого рядна мешки. Руки ее быстро двигались, все же тело, выражение глаз, брови, жирные губы, белая шея замерли, погруженные в однообразную, механическую работу, и, казалось, спали. Изредка только она поднимала голову, чтобы дать отдохнуть своей утомившейся шее, взглядывала мельком на окно, за которым бушевала метель, и опять сгибалась над рядном. Ни желаний, ни грусти, ни радости – ничего не выражало ее красивое лицо с вздернутым носом и ямками на щеках. Так ничего не выражает красивый фонтан, когда он не бьет.

Но вот она кончила один мешок, бросила его в сторону и, сладко потянувшись, остановила свой тусклый, неподвижный взгляд на окне... На стеклах плавали слезы и белели недолговечные снежинки. Снежинка упадет на стекло, взглянет на дьячиху и растает...

– Поди ложись! – проворчал дьячок.

Дьячиха молчала. Но вдруг ресницы ее шевельнулись и в глазах блеснуло внимание. Савелий, все время наблюдавший из-под одеяла выражение ее лица, высунул голову и спросил:

– Что?

– Ничего... Кажись, кто-то едет... – тихо ответила дьячиха.

Дьячок сбросил с себя руками и ногами одеяло, стал в постели на колени и тупо поглядел на жену. Робкий свет лампочки осветил его волосатое рябое лицо и скользнул по включенной жесткой голове.

– Слышишь? – спросила жена.

Сквозь однообразный вой метели расслышал он едва уловимый слухом тонкий, звенящий стон, похожий на зуденье комара, когда он хочет сесть на щеку и сердится, что ему мешают.

– Это почта... – проворчал Савелий, садясь на пятки.

В трех верстах от церкви лежал почтовый тракт. Во время ветра, когда дуло с большой дороги на церковь, обитателям сторожки слышались звонки.

– Господи, приходит же охота ездить в такую погоду! – вздохнула дьячиха.

– Дело казенное. Хочешь – не хочешь, поезжай...

Стон подержался в воздухе и замер.

– Проехала! – сказал Савелий, ложась.

Но не успел он укрыться одеялом, как до его слуха донесся явственный звук колокольчика. Дьячок тревожно взглянул на жену, спрыгнул с постели и, переваливаясь с боку на бок, заходил вдоль печки. Колокольчик прозвучал немного и опять замер, словно оборвался.

– Не слышать... – пробормотал дьячок, останавливаясь и щуря на жену глаза.

Но в это самое время ветер стукнул по окну и донес тонкий, звенящий стон... Савелий побледнел, крикнул и опять зашлепал по полу босыми ногами.

– Почту кружит! – прохрипел он, злобно косясь на жену. – Слышишь ты? Почту кружит!.. Я... я знаю! Нешто я не... не понимаю? – забормотал он. – Я все знаю, чтоб ты пропала!

– Что ты знаешь? – тихо спросила дьячиха, не отрывая глаз от окна.

– А то знаю, что все это твои дела, чертиха! Твои дела, чтоб ты пропала! И метель это, и почту кружит... все это ты наделала! Ты!

– Бесишься, глупый... – покойно заметила дьячиха.

– Я за тобой давно уж это замечаю! Как поженился, в первый же день приметил, что в тебе сучья кровь!

– Тьфу! – удивилась Раиса, пожимая плечами и крестясь. – Да ты перекрестись, дурень!

– Ведьма и есть ведьма, – продолжал Савелий глухим, плачущим голосом, торопливо сморкаясь в подол рубахи. – Хоть ты и жена мне, хоть и духовного звания, но я о тебе и на духу так скажу, какая ты есть... Да как же? Заступи, Господи, и помилуй! В прошлом годе под пророка Даниила и трех отроков была метель и – что же? мастер греться заехал. Потом на Алексия, Божьего человека, реку взломало, и урядника принесло... Всю ночь тут с тобой, проклятый, калякал, а как наутро вышел, да как взглянул я на него, так у него под глазами

круги и все щеки втянуло! А? В Спасовку два раза гроза была, и в оба раза охотник ночевать приходил. Я все видел, чтоб ему пропасть! Все! О, красней рака стала! Ага!

– Ничего ты не видел...

– Ну да! А этой зимой перед Рождеством на десять мучеников в Крите, когда метель день и ночь стояла... помнишь? – писарь предводителя сбился с дороги и сюда, собака, попал... И на что польстилась! Тьфу, на писаря! Стоило из-за него Божью погоду мутить! Чертяка, сморкун, из земли не видно, вся морда в угрях и шея кривая... Добро бы, красивый был, а то – тьфу! – сатана!

Дьячок перевел дух, утер губы и прислушался. Колокольчика не было слышно, но рванул над крышей ветер, и в потемках за окном опять зазвякало.

– И теперь тоже! – продолжал Савелий. – Недаром это почту кружит! Наплюй мне в глаза, ежели почта не тебя ищет! О, бес знает свое дело, хороший помощник! Покружит, покружит и сюда доведет. Зна-аю! Ви-ижу! Не скроешь, бесова балаболка, похоть идольская! Как метель началась, я сразу понял твои мысли.

– Вот дурень! – усмехнулась дьячиха. – Что ж, по твоему, по дурацкому уму, я ненастье делаю?

– Гм... Усмехайся! Ты или не ты, а только я замечаю: как в тебе кровь начинает играть, так и непогода, а как только непогода, так и несет сюда какого ни на есть безумца. Каждый раз так приходится! Стало быть, ты!

Дьячок для большей убедительности приложил палец ко лбу, закрыл левый глаз и проговорил певучим голосом:

– О, безумие! О, Иудино окаянство! Коли ты в самом деле человек есть, а не ведьма, то подумала бы в голове своей: а что, если то были не мастер, не охотник, не писарь, а бес в их образе! А? Ты бы подумала!

– Да и глупый же ты, Савелий! – вздохнула дьячиха, с жалостью глядя на мужа. – Когда папенька живы были и тут жили, то много разного народа ходило к ним от трясушки лечиться: и из деревни, и из выселков, и из армянских хуторов. Почитай, каждый день ходили, и никто их бесами не обзывал. А к нам ежели кто раз в год в ненастье заедет погреться, так уж тебе, глупому, и диво, сейчас у тебя и мысли разные.

Логика жены тронула Савелия. Он расставил босые ноги, нагнул голову и задумался. Он не был еще крепко убежден в своих догадках, а искренний, равнодушный тон дьячихи совсем сбил его с толку, но тем не менее, подумав немного, он мотнул головой и сказал:

– Не то, чтобы старики или косолапые какие, а все молодые ночевать просят... Почему такое? И пушай бы только грелись, а то ведь черта тешат. Нет, баба, хитрей вашего бабьего рода на этом свете и твари нет! Настоящего ума в вас – ни Боже мой, меньше, чем у скворца, зато хитрости бесовской – у-у-у! – спаси, Царица Небесная! Вон, звонит почта! Метель еще только начиналась, а уж я все твои мысли знал! Наведьмачила, паучиха!

– Да что ты пристал ко мне, окаянный? – вышла из терпения дьячиха. – Что ты пристал ко мне, смола?

– А то пристал, что ежели нынче ночью, не дай Бог, случится что... ты слушай!.. ежели случится что, то завтра же чуть свет пойду в Дьяково к отцу Никодиму и все объясню. Так и так, скажу, отец Никодим, извините великодушно, но она ведьма. Почему? Гм... желаете знать почему? Извольте... Так и так. И горе тебе, баба! Не токмо на Страшном судилище, но и в земной жизни наказана будешь! Недаром насчет вашего брата в требнике молитвы написаны!

Вдруг в окне раздался стук, такой громкий и необычайный, что Савелий побледнел и присел от испуга. Дьячиха вскочила и тоже побледнела.

– Ради Бога, пустите погреться! – послышался дрожащий густой бас. – Кто тут есть? Сделайте милость! С дороги сбились!

– А кто вы? – спросила дьячиха, боясь взглянуть на окно.

– Почта! – ответил другой голос.

– Недаром дьяволила! – махнул рукой Савелий. – Так и есть! Моя правда... Ну, гляди же ты мне!

Дьячок подпрыгнул два раза перед постелью, повалился на перину и, сердито сопя, повернулся лицом к стене. Скоро в его спину пахнуло холодом. Дверь скрипнула, и на пороге показалась высокая человеческая фигура, с головы до ног облепленная снегом. За нею мелькнула другая, такая же белая...

– И тюки вносить? – спросила вторая хриплым басом.

– Не там же их оставлять!

Сказавши это, первый начал развязывать себе башлык и, не дожидаясь, когда он развяжется, сорвал его с головы вместе с фуражкой и со злобой швырнул к печке. Затем, стащив с себя пальто, он бросил его туда же и, не здороваясь, зашагал по сторожке.

Это был молодой белокурый почтальон в истасканном форменном сюртучишке и в рыжих грязных сапогах. Согреть себя ходьбой, он сел за стол, протянул грязные ноги к мешкам и подпер кулаком голову. Его бледное с красными пятнами лицо носило еще следы только что пережитых боли и страха. Искривленное злобой, со свежими следами недавних физических и нравственных страданий, с тающим снегом на бровях, усах и круглой бородачке, оно было красиво.

– Собачья жизнь! – проворчал почтальон, водя глазами по стенам и словно не веря, что он в тепле. – Чуть не пропали! Коли б не ваш огонь, так не знаю, что бы и было... И чума его знает, когда все это кончится! Конца краю нет этой собачьей жизни! Куда мы заехали? – спросил он, понизив голос и вскидывая глазами на дьячиху.

– На Гуляевский бугор, в имение генерала Калиновского, – ответила дьячиха, встрепетавшись и краснея.

– Слышь, Степан? – повернулся почтальон к ямщику, застрявшему в дверях с большим кожаным тюком на спине. – Мы на Гуляевский бугор попали!

– Да... далече!

Произнеся это слово в форме хриплого, прерывистого вздоха, ямщик вышел и немного погода внес другой тюк поменьше, затем еще раз вышел и на этот раз внес почтальонную саблю на широком ремне, похожую фасоном на тот длинный плоский меч, с каким рисуется на лубочных картинках Юдифь у ложа Олоферна. Сложив тюки вдоль стены, он вышел в сени, сел там и закурил трубку.

– Может, с дороги чаю покушаете? – спросила дьячиха.

– Куда тут чаи распивать! – нахмурился почтальон. – Надо вот скорее греться да ехать, а то к почтовому поезду опоздаем. Минут десять посидим и пойдем. Только вы, сделайте милость, дорогу нам покажите...

– Наказал Бог погодой! – вздохнула дьячиха.

– М-да... Вы же сами кто тут будете?

– Мы? Тутешние, при церкви... Мы из духовного звания... Вон мой муж лежит! Савелий, встань же, иди поздоровайся! Тут прежде приход был, а года полтора назад его упразднили. Оно, конечно, когда господа тут жили, то и люди были, стоило приход держать, а теперь без господ, сами судите, чем духовенству жить, ежели самая близкая деревня здесь Марковка, да и та за пять верст! Теперь Савелий заштатный и... заместо сторожа. Ему споручено за церковью глядеть...

И почтальон тут же узнал, что если бы Савелий поехал к генеральше и выпросил у ней записку к преосвященному, то ему дали бы хорошее место; не идет же он к генеральше потому, что ленив и боится людей.

– Все-таки мы духовного звания... – добавила дьячиха.

– Чем же вы живете? – спросил почтальон.

– При церкви есть сенокос и огороды. Только нам от этого мало приходится... – вздохнула дьячиха. – Дядькинский отец Никодим, завидующие глаза, служит тут на Николу летнего, да на Николу зимнего и за это почти все себе берет. Заступиться некому!

– Врешь! – прохрипел Савелий. – Отец Никодим святая душа, светильник церкви, а ежели берет, то по уставу!

– Какой он у тебя сердитый! – усмехнулся почтальон. – А давно ты замужем?

– С прощеного воскресенья четвертый год пошел. Тут прежде в дьячках мой папенька были, а потом, как пришло им время помирать, они, чтоб место за мной осталось, поехали в консисторию и попросили, чтоб мне какого-нибудь неженатого дьячка в женихи прислали. Я и вышла.

– Ага, стало быть, ты одной хлопушкой двух мух убил! – сказал почтальон, глядя на спину Савелия. – И место получил жену взял.

Савелий нетерпеливо дрыгнул ногой и ближе придвинулся к стенке. Почтальон вышел из-за стола, потянулся и сел на почтовый тюк. Немного подумав, он помял руками тюки, переложил саблю на другое место и растянулся, свесив на пол одну ногу.

– Собачья жизнь... – пробормотал он, кладя руки под голову и закрывая глаза. – И лихому татарину такой жизни не пожелаю.

Скоро наступила тишина. Слышно было только, как сопел Савелий да как уснувший почтальон, мерно и медленно дыша, при всяком выдыхании выпускал густое, протяжное «к-х-х-х...». Изредка в его горле поскрипывало какое-то колесико да шуршала по тюку вздрагивавшая нога.

Савелий заворочался под одеялом и медленно оглянулся. Дьячиха сидела на табурете и, сдавив щеки ладонями, глядела в лицо почтальона. Взгляд ее был неподвижный, как у удивленного, испуганного человека.

– Ну, чего воззрилась? – сердито прошептал Савелий.

– А тебе что? Лежи! – ответила дьячиха, не отрывая глаз от белокурой головы.

Савелий сердито выдохнул из груди весь воздух и резко повернулся к стене. Минуты через три он опять беспокойно заворочался, стал в постели на колени и, упершись руками о подушку, покосился на жену. Та все еще не двигалась и глядела на гостя. Щеки ее побледнели, и взгляд загорелся каким-то странным огнем. Дьячок крикнул, сполз на животе с постели и, подойдя к почтальону, прикрыл его лицо платком.

– Зачем ты это? – спросила дьячиха.

– Чтоб огонь ему в глаза не бил.

– А ты огонь совсем потуши!

Савелий недоверчиво поглядел на жену, потянулся губами к лампочке, но тотчас же спохватился и всплеснул руками.

– Ну, не хитрость ли бесовская? – воскликнул он. – А? Ну, есть ли какая тварь хитрее бабьего роду?

– А, сатана длиннополая! – прошипела дьячиха, поморщившись от досады. – Погоди же! И, поудобнее усевшись, она опять уставилась на почтальона.

Ничего, что лицо было закрыто. Ее не столько занимало лицо, как общий вид, новизна этого человека. Грудь у него была широкая, могучая, руки красивые, тонкие, а мускулистые стройные ноги были гораздо красивее и мужественнее, чем две «кулдышки» Савелия. Даже сравнивать было невозможно.

– Хоть я и длиннополый, нечистый дух, – проговорил, немного постояв, Савелий, – а тут им нечего спать... Да... Дело у них казенное, мы же отвечать будем, зачем их тут держали. Коли везешь почту, так вези, а спать нечего... Эй, ты! – крикнул Савелий в сени. – Ты, ямщик... как тебя? Проводить вас, что ли? Вставай, нечего с почтой спать!

И расходившийся Савелий подскочил к почтальону и дернул его за рукав.

– Эй, ваше благородие! Ехать так ехать, а коли не ехать, так и не тово... Спать не годится. Почтальон вскочил, сел, обвел мутным взглядом сторожку и опять лег.

– А ехать же когда? – забарабанил языком Савелий, дергая его за рукав. – На то ведь она и почта, чтоб во благовремени поспевать, слышишь? Я провожу.

Почтальон открыл глаза. Согретый и изнеможенный сладким первым сном, еще не совсем проснувшийся, он увидел, как в тумане, белую шею и неподвижный масляный взгляд дьячихи, закрыл глаза и улыбнулся, точно ему все это снилось.



– Ну, куда в такую погоду ехать! – услышал он мягкий женский голос. – Спали бы себе да спали на доброе здоровье!

– А почта? – встревожился Савелий. – Кто же почту-то повезет? Нешто ты повезешь? Ты?

Почтальон снова открыл глаза, взглянул на двигающиеся ямки на лице дьячихи, вспомнил, где он, понял Савелия. Мысль, что ему предстоит ехать в холодных потемках, побежала из головы по всему телу холодными мурашками, и он пожегся.

– Пять минуток еще бы можно поспать... – зевнул он. – Все равно опоздали...

– А может, как раз вовремя приедем! – послышался голос из сеней. – Гляди, неровен час и сам поезд на наше счастье опоздает.

Почтальон поднялся и, сладко потягиваясь, стал надевать пальто.

Савелий, видя, что гости собираются уезжать, даже заржал от удовольствия.

– Помоги, что ль! – крикнул ему ямщик, поднимая с пола тюк.

Дьячок подскочил к нему и вместе с ним потащил на двор почтовую клажу. Почтальон стал распутывать узел на башлыке. А дьячиха заглядывала ему в глаза и словно собиралась залезть ему в душу.

– Чаю бы попили... – сказала она.

– Я бы ничего... да вот они собрались! – соглашался он. – Все равно опоздали.

– А вы останьтесь! – шепнула она, опустив глаза и трогая его за рукав.

Почтальон развязал наконец узел и в нерешимости перекинул башлык через локоть. Ему было тепло стоять около дьячихи.

– Какая у тебя... шея...

И он коснулся двумя пальцами ее шеи. Видя, что ему не сопротивляются, он погладил рукой шею, плечо...

– Фу, какая...

– Остались бы... чаю попили бы.

– Куда кладешь? Ты, кутья с патокой! – послышался со двора голос ямщика. – Поперек клади.

– Остались бы... Ишь, как воеет погода!

И не совсем еще проснувшись, не успевшим стряхнуть с себя обаяние молодого томительного сна почтальоном вдруг овладело желание, ради которого забываются тюки, почтовые поезда... все на свете. Испуганно, словно желая бежать или спрятаться, он взглянул на дверь, схватил за талию дьячиху и уж нагнулся над лампочкой, чтобы потушить огонь, как в сенях застучали сапоги и на пороге показался ямщик... Из-за его плеча выглядывал Савелий. Почтальон быстро опустил руки и остановился, словно в раздумье.

– Все готово! – сказал ямщик.

Почтальон постоял немного, резко мотнул головой, как окончательно проснувшийся, и пошел за ямщиком. Дьячиха осталась одна.

– Что же, садись, показывай дорогу! – услышала она.

Лениво зазвучал один колокольчик, затем другой, и звенящие звуки мелкой длинной цепочкой понеслись от сторожки.

Когда они мало-помалу затихли, дьячиха рванулась с места и нервно заходила из угла в угол. Сначала она была бледна, потом же вся покраснелась. Лицо ее исказилось ненавистью, дыхание задрожало, глаза заблестели дикой, свирепой злобой и, шагая как в клетке, она походила на тигрицу, которую пугают раскаленным железом. На минуту остановилась она и взглянула на свое жилье. Чуть ли не полкомнаты занимала постель, тянувшаяся вдоль всей стены и состоявшая из грязной перины, серых жестких подушек, одеяла и разного безыменного тряпья. Эта постель представляла собой бесформенный некрасивый ком, почти такой же, какой торчал на голове Савелия всегда, когда тому приходила охота маслить свои волосы. От постели до двери, выходящей в холодные сени, тянулась темная печка с горшками и висящими тряпками. Все, не исключая и только что вышедшего Савелия, было донельзя грязно, засалено, закопчено, так что было странно видеть среди такой обстановки белую шею и тонкую, нежную кожу женщины. Дьячиха подбежала к постели, протянула руки, как бы желая раскидать, растоптать и изорвать в пыль все это, но потом, словно испугавшись прикосновений к грязи, она отскочила назад и опять зашагала...

Когда часа через два вернулся облепленный снегом и замученный Савелий, она уже лежала раздетая в постели. Глаза у нее были закрыты, но по мелким судорогам, которые бегали по ее лицу, он догадался, что она не спит. Возвращаясь домой, он дал себе слово до завтра молчать и не трогать ее, но тут не вытерпел, чтобы не уязвить.

– Даром только ворожила: уехал! – сказал он, злорадно ухмыльнувшись.

Дьячиха молчала, только подбородок ее дрогнул. Савелий медленно разделся, перелез через жену и лег к стенке.

– А вот завтра я объясню отцу Никодиму, какая ты жена! – пробормотал он, съеживаясь калачиком.

Дьячиха быстро повернулась к нему лицом и сверкнула на него глазами.

– Будет с тебя и места, – сказала она, – а жену поищи себе в лесу! Какая я тебе жена? Да чтоб ты треснул! Вот еще навязался на мою голову телепень, лежебока, прости Господи!

– Ну, ну... Спи!

– Несчастливая я! – зарыдала дьячиха. – Коли б не ты, я, может, за купца бы вышла или за благородного какого! Коли б не ты, я бы теперь мужа любила! Не замело тебя снегом, не замерз ты там на большой дороге, ирод!

Долго плакала дьячиха. В конце концов она глубоко вздохнула и утихла. За окном все еще злилась вьюга. В печке, в трубе, за всеми стенами что-то плакало, а Савелию казалось, что это у него внутри и в ушах плачет. Сегодняшним вечером он окончательно убедился в своих предположениях относительно жены. Что жена его при помощи нечистой силы распоряжалась ветрами и почтовыми тройками, в этом уж он более не сомневался. Но, к сугубому горю его, эта таинственность, эта сверхъестественная, дикая сила придавали лежавшей около него женщине особую непонятную прелесть, какой он и не замечал ранее. Оттого, что он по глупости, сам того не замечая, опоэтизировал ее, она стала как будто белее, глаже, неприступнее...

– Ведьма! – негодовал он. – Тьфу, противная!

А между тем, дождавшись, когда она утихла и стала ровно дышать, он коснулся пальцем ее затылка... подержал в руке ее толстую косу. Она не слышала... Тогда он стал смелее и погладил ее по шее.

– Отстань! – крикнула она и так стукнула его локтем в переносицу, что из глаз его посыпались искры.

Боль в переносице скоро прошла, но пытка все еще продолжалась.

Тоска

Кому повем печаль мою?..

Вечерние сумерки. Крупный мокрый снег лениво кружится около только что зажженных фонарей и тонким мягким пластом ложится на крыши, лошадиные спины, плечи, шапки. Извозчик Иона Потапов весь бел, как привидение. Он согнулся, насколько только возможно согнуться живому телу, сидит на козлах и не шевельнется. Упади на него целый сугроб, то и тогда бы, кажется, он не нашел нужным стряхивать с себя снег... Его лошаденка тоже бела и неподвижна. Своею неподвижностью, угловатостью форм и палкообразной прямизною ног она даже вблизи похожа на копеечную пряничную лошадку. Она, по всей вероятности, погружена в мысль. Кого оторвали от плуга, от привычных, серых картин и бросили сюда в этот омут, полный чудовищных огней, неугомонного треска и бегущих людей, тому нельзя не думать...

Иона и его лошаденка не двигаются с места уже давно. Выехали они со двора еще до обеда, а почина все нет и нет. Но вот на город спускается вечерняя мгла. Бледность фонарных огней уступает свое место живой краске, и уличная суматоха становится шумнее.

– Извозчик, на Выборгскую! – слышит Иона. – Извозчик!

Иона вздрагивает и сквозь ресницы, облепленные снегом, видит военного в шинели с капюшоном.

– На Выборгскую! – повторяет военный. – Да ты спишь, что ли? На Выборгскую!

В знак согласия Иона дергает вожжи, отчего со спины лошади и с его плеч сыплются пласты снега... Военный садится в сани. Извозчик чмокает губами, вытягивает по-лебединому шею, приподнимается и больше по привычке, чем по нужде, машет кнутом. Лошаденка тоже вытягивает шею, кривит свои палкообразные ноги и нерешительно двигается с места...

– Куда прешь, леший! – на первых же порах слышит Иона возгласы из темной, движущейся взад и вперед массы. – Куда черти несут? Пррава держи!

– Ты ездить не умеешь! Права держи! – сердится военный.

Бранится кучер с кареты, злобно глядит и стряхивает с рукава снег прохожий, перебежавший дорогу и налетевший плечом на морду лошаденки. Иона ерзает на козлах, как на иголках, тыкает в стороны локтями и водит глазами, как угорелый, словно не понимает, где он и зачем он здесь.

– Какие все подлецы! – острит военный. – Так и норовят столкнуться с тобой или под лошадь попасть. Это они сговорились.

Иона оглядывается на седока и шевелит губами... Хочет он, по-видимому, что-то сказать, но из горла не выходит ничего, кроме сопеня.

– Что? – спрашивает военный.

Иона кривит улыбкой рот, напрягает свое горло и сипит:

– А у меня, барин, тово... сын на этой недели помер.

– Гм!.. Отчего же он умер?

Иона оборачивается всем туловищем к седоку и говорит:

– А кто же его знает! Должно, от горячки... Три дня полежал в больнице и помер... Божья воля.

– Сворачивай, дьявол! – раздается в потемках. – Пovýлазило, что ли, старый пес? Гляди глазами!

– Поезжай, поезжай... – говорит седок. – Этак мы и до завтра не доедем. Подгони-ка!

Извозчик спять вытягивает шею, приподнимается и с тяжелой грацией взмахивает кнутом. Несколько раз потом оглядывается он на седока, но тот закрыл глаза и, по-видимому, не расположен слушать. Высадив его на Выборгской, он останавливается у трактира, сгибается

на козлах и опять не шевельнется... Мокрый снег опять красит набело его и лошаденку. Проходит час, другой...

По тротуару, громко стуча калошами и перебраниваясь, проходят трое молодых людей: двое из них высоки и тонки, третий мал и горбат.

– Извозчик, к Полицейскому мосту! – кричит дребезжащим голосом горбач. – Троиш... двугривенный!

Иона дергает вожжами и чмокает. Двугривенный цена не сходная, но ему не до цены... Что рубль, что пятак – для него теперь все равно, были бы только седоки... Молодые люди, толкаясь и сквернословя, подходят к саням и все трое сразу лезут на сиденье. Начинается решение вопроса: кому двум сидеть, а кому третьему стоять? После долгой перебранки, капризничанья и попреков приходят к решению, что стоять должен горбач, как самый маленький.

– Ну, погоняй! – дребезжит горбач, устанавливаясь и дыша в затылок Ионы. – Лупи! Да и шапка же у тебя, братец! Хуже во всем Петербурге не найти...

– Гы-ы... гы-ы... – хохочет Иона. – Какая есть...

– Ну, ты, какая есть, погоняй! Этак ты всю дорогу будешь ехать? Да? А по шее?..

– Голова трещит... – говорит один из длинных. – Вчера у Дукмасовых мы вдвоем с Васькой четыре бутылки коньяку выпили.

– Не понимаю, зачем врать! – сердится другой длинный. – Врет, как скотина.

– Накажи меня Бог, правда...

– Это такая же правда, как то, что вошь кашляет.

– Гы-ы! – ухмыляется Иона. – Ве-еселые господа!

– Тьфу, чтоб тебя черти!.. – возмущается горбач. – Поедешь ты, старая холера, или нет? Разве так ездят?! Хлобысни-ка ее кнутом! Но, черт! Но! Хорошенько ее.

Иона чувствует за своей спиной вертящееся тело и голосовую дрожь горбача. Он слышит обращенную к нему ругань, видит людей, и чувство одиночества начинает мало-помалу отлепать от груди. Горбач бранится до тех пор, пока не давится вычурным, шестиэтажным ругательством и не раздражается кашлем. Длинные начинают говорить о какой-то Надежде Петровне. Иона оглядывается на них. Дождавшись короткой паузы, он оглядывается еще раз и бормочет:

– А у меня на этой неделе... тово... сын помер!

– Все помер... – вздыхает горбач, вытирая после кашля губы. – Ну, погоняй, погоняй! Господа, я решительно не могу дальше так ехать! Когда он нас довезет?

– А ты его легонечко подбодри... в шею!

– Старая холера, слышишь? Ведь шею наkostenю!.. С вашим братом церемониться, так пешком ходить!.. Ты слышишь, Змей Горыныч? Или тебе плевать на наши слова?

И Иона больше слышит, чем чувствует, звуки подзатыльника.

– Гы-ы... – смеется он. – Веселые господа... дай Бог здоровья!

– Извозчик, ты женат? – спрашивает длинный.

– Я-то? Гы-ы... ве-еселые господа! Таперя у меня одна жена – сырая земля... Хи-хо-хо... Могила то есть!.. Сын-то вот помер, а я жив... Чудное дело, смерть дверью обозналась... Вместо того, чтоб ко мне идтить, она к сыну...

И Иона оборачивается, чтобы рассказать, как умер его сын, но тут горбач легко вздыхает и заявляет, что, слава Богу, они наконец приехали. Получив двугривенный, Иона долго глядит вслед гулякам, исчезающим в темном подъезде. Опять он одинок, и опять наступает для него тишина... Утихшая ненадолго тоска появляется вновь и распирает грудь еще с большей силой. Глаза Ионы тревожно и мученически бегают по толпам, снующим по обе стороны улицы: не найдется ли из этих тысяч людей хоть один, который выслушал бы его? Но толпы бегут, не замечая ни его, ни тоски... Тоска громадная, не знающая границ. Лопни грудь Ионы и вылейся из нее тоска, так она бы, кажется, весь свет залила, но тем не менее ее не видно. Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что ее не увидишь днем с огнем...

Иона видит дворника с кульком и решает заговорить с ним.

– Милый, который теперь час будет? – спрашивает он.

– Десятый... Чего же стал здесь? Проезжай!

Иона отъезжает на несколько шагов, изгибается и отдается тоске... Обращаться к людям он считает уже бесполезным. Но не проходит и пяти минут, как он выпрямляется, встряхивает головой, словно почувствовал острую боль, и дергает вожжи... Ему невмоготу, «Ко двору, – думает он. – Ко двору!»

И лошаденка, точно поняв его мысль, начинает бежать рысцой. Спустя часа полтора Иона сидит уже около большой, грязной печи. На печи, на полу, на скамьях храпит народ. В воздухе «спираль» и духота... Иона глядит на спящих, почесывается и жалеет, что так рано вернулся домой...

«И на овес не выездил, – думает он. – Оттого-то вот и тоска. Человек, который знающий свое дело... который и сам сыт, и лошадь сыта, завсегда покоен...»

В одном из углов поднимается молодой извозчик, сонно крикает и тянется к ведру с водой.

– Пить захотел? – спрашивает Иона.

– Стало быть, пить!

– Так... На здоровье... А у меня, брат, сын помер... Слыхал? На этой неделе в больнице...

История!

Иона смотрит, какой эффект произвели его слова, но не видит ничего. Молодой укрылся с головой и уже спит. Старик вздыхает и чешется... Как молодому хотелось пить, так ему хочется говорить. Скоро будет неделя, как умер сын, а он еще путем не говорил ни с кем... Нужно поговорить с толком, с расстановкой... Надо рассказать, как заболел сын, как он мучился, что говорил перед смертью, как умер... Нужно описать похороны и поездку в больницу за одеждой покойника. В деревне осталась дочка Анистья... И про нее нужно поговорить... Да мало ли о чем он может теперь поговорить? Слушатель должен охать, вздыхать, причитывать... А с бабами говорить еще лучше. Те хоть и дуры, но ревут от двух слов.

«Пойти лошадь поглядеть, – думает Иона. – Спать всегда успеешь... Небось выспишься...»

Он одевается и идет в конюшню, где стоит его лошадь. Думает он об овсе, сене, о погоде... Про сына, когда один, думать он не может... Поговорить с кем-нибудь о нем можно, но самому думать и рисовать себе его образ невыносимо жутко...

– Жуешь? – спрашивает Иона свою лошадь, видя ее блестящие глаза. – Ну, жуй, жуй... Коли на овес не выездили, сено есть будем... Да... Стар уж стал я ездить... Сыну бы ездить, а не мне... То настоящий извозчик был... Жить бы только...

Иона молчит некоторое время и продолжает:

– Так-то, брат кобылочка... Нету Кузьмы Ионыча... Приказал долго жить... Взял и помер зря... Таперя, скажем, у тебя жеребеночек, и ты этому жеребеночку родная мать... И вдруг, скажем, этот самый жеребеночек приказал долго жить... Ведь жалко?

Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина...

Иона увлекается и рассказывает ей все...

Пустой случай

Был солнечный, августовский полдень, когда я с одним русским захудалым князьком подъехал к громадному, так называемому Шабельскому бору, где мы намеревались поискать рябчиков. Мой князек, ввиду роли, которую он играет в этом рассказе, заслуживал бы подробного описания. Это высокий, стройный брюнет, еще не старый, но уже достаточно помятый жизнью, с длинными полицеймейстерскими усами, с черными глазами навывкате и с замашками отставного военного. Человек он недалекий, восточного пошиба, но честный и прямой, не бреттер, не фат и не кутила – достоинства, дающие в глазах публики диплом на бесцветность и мизерность. Публике он не нравился (в уезде иначе не называли его, как «сиятельным балбесом»), мне же лично князек был до крайности симпатичен своими несчастьями и неудачами, из которых без перерыва состояла вся его жизнь. Прежде всего он был беден. В карты он не играл, не кутил, делом не занимался, никуда не совал своего носа и вечно молчал, но сумел каким-то образом растратить тридцать – сорок тысяч, оставшиеся ему после отца. Один Бог знает, куда девались эти деньги; мне известно только, что много, за отсутствием досмотра, было расхищено управляющими, приказчиками и даже лакеями, много прошло на займы, подачки и поручительства. В уезде редкий помещик не состоял ему должным. Всем просящим он давал и не столько из доброты или доверия к людям, сколько из напускного джентльменства: возьми, мол, и чувствуй мою комильфотность! Я познакомился с ним, когда уж он сам залез в долги, узнал вкус во вторых закладных и запутался до невозможности выпутаться. Бывали дня, когда он не обедал и ходил с пустым портсигаром, но всегда его видели чистеньким, одетым по моде, и всегда от него шел густой запах иланг-иланга.

Вторым несчастьем князя было его круглое одиночество. Женат он не был, родных и друзей не имел. Молчаливый, скрытный характер и комильфотность, которая тем резче выступала на первый план, чем сильнее хотелось скрыть бедность, мешали ему сближаться с людьми. Для романов он был тяжел, вял и холоден, а потому редко сходил с женщинами...

Подъехав к лесу, я и этот князек вылезли из брички и пошли по узкой тесной тропинке, прятанной в тени громадных листьев папоротника. Но не прошли мы и ста шагов, как из-за молодого, аршинного ельника, точно из земли выросши, поднялась высокая жидкая фигура с длинным овальным лицом, в потертом пиджаке, в соломенной шляпе и в лакированных ботфортах. В одной руке незнакомца была корзинка с грибами, другою он игриво теребил дешевенькую цепочку на жилетке. Увидав нас, он сконфузился, поправил жилетку, вежливо кашлянул и приятно улыбнулся, точно рад был видеть таких хороших людей, как мы. Потом, совершенно неожиданно для нас, он, шаркая по траве длинными ногами, изгибаясь всем телом и не переставая приятно улыбаться, подошел к нам, приподнял шляпу и произнес слащавым голосом, в котором слышалась интонация воющей собаки:

– Э-а-э... господа, как мне ни тяжело, но я должен предупредить вас, что в этом лесу охота воспрещается. Извините, что, не будучи знаком, осмеливаюсь беспокоить вас, но... позвольте представиться: я – Гронтовский, главный конторщик при экономии госпожи Кандуриной!

– Очень приятно, но почему же нельзя охотиться?

– Такова воля владетельницы этого леса!

Я и князь переглянулись. Минута прошла в молчании. Князь стоял и задумчиво глядел себе под ноги на большой мухомор, сбитый палкой. Гронтовский продолжал приятно улыбаться. Все лицо его моргало, медоточило, и казалось, даже цепочка на жилетке улыбалась и старалась поразить нас своею деликатностью. В воздухе на манер тихого ангела пролетел конфуз; всем трем было неловко.

– Пустое! – сказал я. – Не дальше как на прошлой неделе я тут охотился!

– Очень может быть! – захихикал сквозь зубы Гронтовский. – Фактически здесь все охотятся, не глядя на запрещение, но раз я с вами встретился, моя обязанность... священный долг предупредить вас. Я человек зависимый. Если бы лес был мой, то, честное слово Гронтовского, я не противился бы вашему приятному удовольствию. Но кто виноват, что Гронтовский зависим?

Долговязый субъект вздохнул и пожал плечами. Я начал спорить, кипятиться и доказывать, но чем громче и убедительнее я говорил, тем медовее и приторнее становилось лицо Гронтовского. Очевидно, сознание некоторой власти над нами доставляло ему величайшее наслаждение. Он наслаждался своим снисходительным тоном, любезностью, манерами и с особенным чувством произносил свою звучную фамилию, которую он, вероятно, очень любил. Стоя перед нами, он чувствовал себя больше чем в своей тарелке.

Только судя по косым, конфузливым взглядам, которые он изредка бросал на свою корзину, одно лишь портило его настроение – это грибы, бабья, мужицкая проза, оскорблявшая его величие.



– Не ворочаться же нам назад! – сказал я. – Мы пятнадцать верст проехали!

– Что делать! – вздохнул Гронтовский. – Если бы вы изволили проехать не пятнадцать, а сто тысяч верст, если бы даже король приехал сюда из Америки или из другой какой-нибудь далекой страны, то и тогда бы я счел за долг... священную, так сказать, обязанность...

– Этот лес принадлежит Надежде Львовне? – спросил князь.

– Да-с, Надежде Львовне...

– Она теперь дома?

– Да-с... Вот что, вы съездите к ней – полверсты отсюда, не больше, – если она даст вам записочку, то я... понятно! Ха-ха... хи-хи-с!..

– Пожалуй, – согласился я. – Съездить к ней гораздо ближе, чем ворочаться... Съездите к ней, Сергей Иванович, – обратился я к князю. – Вы с ней знакомы.

Князь, глядевший все время на сбитый мухомор, поднял на меня глаза, подумал и сказал:

– Я когда-то был с ней знаком, но... мне не совсем ловко к ней идти. И к тому же я плохо одет... Съездите вы, вы с ней незнакомы... Вам удобнее.

Я согласился. Мы сели в шарабан и, провожаемые улыбками Гронтовского, покатали по краю леса к барской усадьбе. С Надеждой Львовной Кандуриной, урожденной Шабельской, знаком я не был, никогда раньше вблизи не видал ее и знал ее только понаслышке. Я знал, что она была невылазно богата, как никто в губернии... После смерти отца, помещика Шабельского, у которого она была единственной дочерью, осталось ей несколько имений, конский завод и много денег. Слышал я, что она, несмотря на свои двадцать пять – двадцать шесть лет, некрасива, бесцветна, ничтожна, как все, и выделяется из ряда обыкновенных уездных барынь только своим громадным состоянием.

Мне всегда казалось, что богатство ощущается и что у богачей должно быть свое особенное чувство, неизвестное беднякам. Часто, проезжая мимо большого фруктового сада Надежды Львовны, из которого высился громадный тяжелый дом с всегда занавешенными окнами, я думал: «Что чувствует она в данную минуту? Есть ли там за шторами счастье?» и т. д. Раз я видел издали, как она ехала откуда-то на хорошеньком легком кабриолете и правила красивой белой лошады, и – грешный человек – я не только позавидовал ей, но даже нашел, что в ее посадке, в ее движениях есть что-то особенное, чего нет у людей небогатых, подобно тому, как люди, по натуре раболепные, в обыкновенной наружности людей познатнее себя умудряются с первого взгляда находить породу. Внутренняя жизнь Надежды Львовны была известна мне только по сплетням. В уезде говорили, что лет пять-шесть тому назад, еще до своего замужества, при жизни отца, она была страстно влюблена в князя Сергея Ивановича, который ехал теперь рядом со мной в шарабане. Князь любил ездить к старику и, бывало, целые дни проводил у него в бильярдной, где неумоимо, до боли в руках и ногах, играл в пирамидку, за полгода же до смерти старика он вдруг перестал бывать у Шабельских. Такую резкую перемену в отношениях уездная сплетня, не имея положительных данных, объясняет всячески. Одни рассказывают, что князь, заметив будто бы чувство некрасивой Наденьки и не будучи в состоянии отвечать взаимностью, почел долгом порядочного человека прекратить свои посещения; другие утверждают, что старик Шабельский, узнав, отчего чахнет его дочь, предложил небогатому князю жениться на ней, князь же, вообразив по своей недалекости, что его хотят купить вместе с титулом, возмутился, наговорил глупостей и рассорился. Что в этом вздоре правда и что неправда, – трудно сказать, а что доля правды есть, видно из того, что князь всегда избегал разговоров о Надежде Львовне.

Мне известно, что вскоре после смерти отца Надежда Львовна вышла замуж за некоего Кандурина, заезжего кандидата прав, человека небогатого, но ловкого. Вышла она не по любви, а тронутая любовью кандидата прав, который, как говорят, прекрасно разыгрывал влюбленного. В описываемое мною время, муж ее, Кандурин, жил для чего-то в Каире и писал оттуда своему приятелю, уездному предводителю, «путевые записки», а она, окруженная тунеядцами-приживалками, томилась за спущенными шторами и коротала свои скучные дни мелкой филантропией.

На пути к усадьбе князь разговорился.

– Уж три дня, как я не был у себя дома, – сказал он полушепотом, косясь на возницу. – Кажется, вот и велик вырос, не баба и без предрассудков, а не перевариваю судебных приставов. Когда я вижу у себя в доме судебного пристава, то бледнею, дрожу и даже судороги в икрах делаютя. Знаете, Рогожин протестовал мой вексель!

Князь вообще не любил жаловаться на плохие обстоятельства; где касалось бедности, там он был скрытен, до крайности самолюбив и щепетилен, а потому это его заявление меня удивило. Он долго глядел на желтую сечу, согреваемую солнцем, проводил глазами длинную вереницу журавлей, плывших в лазуревом поднебесье, и повернулся лицом ко мне.

– А к шестому сентября нужно готовить деньги в банк... проценты за именье! – сказал он вслух, уже не стесняясь присутствием кучера. – А где их взять? Вообще, батенька, круто приходится! Ух, как круто!

Князь оглядел курки своего ружья, для чего-то подул на них и стал искать глазами потерянных из виду журавлей.

– Сергей Иваныч, – спросил я после минутного молчания, – если, представьте, продадут вашу Шатиловку, то что вы будете делать?

– Я? Не знаю! Шатиловке не уцелеть, это как дважды два, но не могу я представить себе такой беды. Я не могу представить себя без готового куска хлеба. Что я буду делать? Образования у меня почти никакого, работать я еще не пробовал, служить – начинать поздно... Да и где служить? Где бы я мог сгодиться? Допустим, не велика хитрость служить, хоть у нас бы, например, в земстве, но у меня... черт его знает, малодушие какое-то, ни на грош смелости. Поступлю я на службу, и все мне будет казаться, что я не в свои сани сел. Я не идеалист, но утопист, не принципист какой-нибудь особенный, а просто, должно быть, глуп и из-за угла мешком прибит. Психопат и трус. Вообще не похож на людей. Все люди, как люди, один только я изображаю из себя что-то такое... этакое... Встретил я в среду Нарягина. Вы его знаете, пьян, неряшлив... долгов не платит, глуповат (князь поморщился и мотнул головой)... личность ужасная! Качается и говорит мне: «Я в мировые баллотируюсь!» Его, конечно, не выберут, но ведь он верит, что годится в мировые, считает это дело по плечу себе. И смелость есть, и самоуверенность. Также заезжаю я к нашему судебному следователю. Человек получает двести пятьдесят в месяц, но дела почти никакого, только и знает, что целые дни в одном нижнем белье шагает из угла в угол, но спросите его, он уверен, что дело делает, честно исполняет долг. Я бы не мог так! Мне бы совестно было в глаза казначею глядеть.

В это время мимо нас на рыжей лошадке с шиком проскакал Гронтовский. В левой руке его на локте болталась корзинка, в которой прыгали белые грибы. Поравнявшись с нами, он оскалил зубы и сделал ручкой, как давнишним знакомым.

– Болван! – процедил князь сквозь зубы, глядя ему вслед. – Удивительно, как противно иногда бывает видеть довольные физиономии. Глупое, животное чувство и, должно быть, с голодухи... На чем я остановился? Ах, да, о службе... Жалованье получать мне было бы стыдно, а в сущности говоря, это глупо. Если взглянуть пошире, серьезно, то ведь и теперь я ем не свое. Не так ли? Но тут почему-то не стыдно... Привычка тут, что ли... или неуменье вдумываться в свое настоящее положение... А положение это, вероятно, ужасно!

Я посмотрел: не рисуется ли князь? Но лицо его было кротко, и глаза с грустью следили за движениями убегавшей рыжей лошадки, точно вместе с нею убегало его счастье.

По-видимому, он находился в том состоянии раздражения и грусти, когда женщины тихо и беспричинно плачут, а у мужчин является потребность жаловаться на жизнь, на себя, на Бога...

У ворот усадьбы, когда я вылезал из шарабана, князь говорил:

– Раз один человек, желая уязвить меня, сказал, что у меня шулерская физиономия. Я и сам заметил, что шулера чаще всего брютеты. Мне кажется, послушайте, что если бы я в самом деле родился шулером, то до смерти бы остался порядочным человеком, так как у меня не хватило бы смелости делать зло. Скажу вам откровенно, я имел в жизни случай разбогатеть. Солги я раз в жизни, солги только перед самим собой и одной... и одним человеком, который, я знаю, простил бы мне мою ложь, я положил бы к себе в карман чистоганом миллион. Но не смог! Духу не хватило!

От ворот к дому нужно было идти рощей по длинной, ровной, как линейка, дороге, усаженной по обе стороны густой стриженной сиренью. Дом представлял из себя нечто тяжелое, безвкусное, похожее фасадом на театр. Он неуклюже высился из массы зелени и резал глаза, как большой булыжник, брошенный на бархатную траву. У парадного входа встретил меня

тучный старик лакей в зеленом фраке и больших серебряных очках; без всякого доклада, а только брезгливо оглядев мою запыленную фигуру, он проводил меня в покои. Когда я шел вверх по мягкой лестнице, то почему-то сильно пахло каучуком, наверху же в передней меня охватила атмосфера, присущая только архивам, барским хоромам и старинным купеческим домам: кажется, что пахнет чем-то давно прошедшим, что когда-то жило и умерло, оставив в комнатах свою душу. От передней до гостиной я прошел комнаты три-четыре. Помнятся мне ярко-желтые блестящие полы, люстры, окутанные в марлю, узкие полосатые ковры, которые тянулись не прямо от двери до двери, как обыкновенно, а вдоль стен, так что мне, не рискуя касаться своими грубыми болотными сапогами яркого пола, в каждой комнате приходилось описывать четырехугольник. В гостиной, где оставил меня лакей, стояла окутанная сумерками старинная дедовская мебель в белых чехлах. Глядела она сурово, по-стариковски, и, словно из уважения к ее покою, не слышно было ни одного звука.

Даже часы молчали... Княжна Тараканова, казалось, уснула в золотой раме, а вода и крысы замерли по воле волшебства. Дневной свет, боясь нарушить общий покой, едва пробивался сквозь спущенные шторы и бледными, дремлющими полосами ложился на мягкие ковры.

Прошло три минуты, и в гостиную бесшумно вошла большая старуха в черном и с повязанной щекой. Она поклонилась мне и подняла шторы. Тотчас же, охваченные ярким светом, ожили на картине крысы и вода, проснулась Тараканова, зажмурились мрачные старики кресла.

– Они сию минуту-с... – вздохнула старуха, тоже жмурясь.

Еще несколько минут ожидания, и я увидел Надежду Львовну. Что прежде всего мне бросилось в глаза, так это то, что она действительно была некрасива: мала ростом, тоща, сутуловата. Волосы ее, густые, каштановые, были роскошны, лицо, чистое и интеллигентное, дышало молодостью, глаза глядели умно и ясно, но вся прелесть головы пропадала благодаря большим жирным губам и слишком острому лицевому углу.

Я назвал себя и сообщил о цели своего прихода.

– Право, не знаю, как мне быть! – сказала она в раздумье, опуская глаза и улыбаясь. – Не хотелось бы отказывать и в то же время...

– Пожалуйста! – попросил я.

Надежда Львовна поглядела на меня и засмеялась. Я тоже засмеялся. Ее забавляло, вероятно, то, чем наслаждался Гронтовский, то есть право разрешать и запрещать; мне же мой визит стал вдруг казаться курьезным и странным.

– Не хотелось бы мне нарушать давно заведенный порядок, – сказала Кандурина. – Уже шесть лет, как на нашей земле запрещена охота. Нет! – решительно мотнула она головой. – Извините, я должна отказать вам. Если разрешить вам, то придется разрешать и другим. Я не люблю несправедливости. Или всем, или никому.

– Жаль! – вздохнул я. – Грустно тем более, что мы проехали пятнадцать верст. Я не один здесь, – прибавил я. – Со мной князь Сергей Иваныч.

Имя князя произнес я без всякой задней мысли, не побуждаемый никакими особенными соображениями и целями, а сболтнул его, не рассуждая, по простоте. Услыхав знакомое имя, Кандурина вздрогнула и остановила на мне долгий взгляд. Я заметил, как у нее побледнел нос.

– Это все равно... – сказала она, опуская глаза.

Разговаривая с нею, я стоял у окна, выходившего в рощу. Мне видна была вся роща с аллеями, с прудами и дорогою, по которой я только что шел. В конце дороги за воротами чернел задок нашего шарабана. Около ворот, спиною к дому и расставив ноги, стоял князь и беседовал с долговязым Гронтовским.

Кандурина все время находилась у другого окна. Она изредка поглядывала на рощу, а когда я произнес имя князя, она уже не отворачивалась от окна.

– Извините меня, – сказала она, щурия глаза на дорогу и на ворота, – но было бы несправедливо разрешить охоту только вам... И к тому же что за удовольствие убивать птиц? За что? Разве они вам мешают?

Жизнь одинокая, замуравленная в четырех стенах, с ее комнатными сумерками и тяжелым запахом гниющей мебели, располагает к сентиментальности. Мысль, оброненная Кандуриной, была почтенна, но я не удержался, чтобы не сказать:

– Если так рассуждать, то следует ходить босиком. Сапоги шьются из кожи убитых животных.

– Нужно отличать необходимость от прихоти, – глухо ответила Кандурина.

Она уже узнала князя и не отрывала глаз от его фигуры. Трудно описать восторг и страдание, какими светилось ее некрасивое лицо! Ее глаза улыбались и блестели, губы дрожали и смеялись, а лицо тянулось ближе к стеклам. Держась обеими руками за цветочный горшок, немного приподняв одну ногу и притаив дыхание, она напоминала собаку, которая делает стойку и с страстным нетерпением ожидает «пиль!».

Я поглядел на нее, на князя, но сумевшего солгать раз в жизни, и мне стало досадно, горько на правду и ложь, играющих такую стихийную роль в личном счастье людей.

Князь вдруг встрепенулся, прицелился и выстрелил. Ястреб, летевший над ним, взмахнул крыльями и стрелой понесся далеко в сторону.

– Высоко взял! – сказал я. – Итак, Надежда Львовна, – вздохнул я, отходя от окна, – вы не разрешаете... Кандурина молчала.

– Честь имею кланяться, – сказал я, – и прошу извинить за беспокойство...

Кандурина хотела было повернуться ко мне лицом и уже сделала четверть оборота, но тотчас же спрятала лицо за драпировку, как будто почувствовала на глазах слезы, которые хотела скрыть...

– Прощайте... Извините... – тихо сказала она.

Я поклонился ее спине и, уже не разбирая ковров, зашагала по ярко-желтым полам. Мне приятно было уходить из этого маленького царства позолоченной скуки и скорби, и я спешил, точно желая встрепенуться от тяжелого фантастического сна с его сумерками, Таракановой, люстрами...

У выхода догнала меня горничная и вручила мне записку. «Подателям сего охота дозволяется. Н. К.» – прочел я...

Каштанка

Рассказ

I Дурное поведение

Молодая, рыжая собака – помесь такса с дворняжкой – очень похожая мордой на лисицу, бегала взад и вперед по тротуару и беспокойно оглядывалась по сторонам. Изредка она останавливалась и, плача, приподнимая то одну озябшую лапу, то другую, старалась дать себе отчет: как это могло случиться, что она заблудилась?

Она отлично помнила, как она провела день и как в конце концов попала на этот незнакомый тротуар.

День начался с того, что ее хозяин, столяр Лука Александрыч, надел шапку, взял подмышку какую-то деревянную штуку, завернутую в красный платок, и крикнул:

– Каштанка, пойдем!

Услыхав свое имя, помесь такса с дворняжкой вышла из-под верстака, где она спала на стружках, сладко потянулась и побежала за хозяином. Заказчики Луки Александрыча жили ужасно далеко, так что, прежде чем дойти до каждого из них, столяр должен был по несколько раз заходить в трактир и подкрепляться. Каштанка помнила, что по дороге она вела себя крайне неприлично. От радости, что ее взяли гулять, она прыгала, бросалась с лаем на вагоны конно-железки, забегала во дворы и гонялась за собаками. Столяр то и дело терял ее из виду, останавливался и сердито кричал на нее. Раз даже он с выражением алчности на лице забрал в кулак ее лисье ухо, потрепал и проговорил с расстановкой:

– Чтоб... ты... из...дох...ла, холера!

Побывав у заказчиков, Лука Александрыч зашел на минутку к сестре, у которой пил и закусывал; от сестры пошел он к знакомому переплетчику, от переплетчика в трактир, из трактира к куму и т. д. Одним словом, когда Каштанка попала на незнакомый тротуар, то уже вечерело и столяр был пьян, как сапожник. Он размахивал руками и, глубоко вздыхая, бормотал:

– Во гресех роди мя мати во утробе моей! Ох, грехи, грехи! Теперь вот мы по улице идем и на фонарики глядим, а как помрем – в гиене огненной гореть будем...

Или же он впадал в добродушный тон, подзывал к себе Каштанку и говорил ей:

– Ты, Каштанка, насекомое существо и больше ничего. Супротив человека ты все равно, что плотник супротив столяра...

Когда он разговаривал с нею таким образом, вдруг загремела музыка. Каштанка оглянулась и увидела, что по улице прямо на нее шел полк солдат. Не вынося музыки, которая расстраивала ей нервы, она заметалась и завыла. К великому ее удивлению, столяр вместо того, чтобы испугаться, завизжать и залаять, широко улыбнулся, вытянулся во фронт и всей пятерней сделал под козырек. Видя, что хозяин не протестует, Каштанка еще громче завыла и, не помня себя, бросилась через дорогу на другой тротуар.



Когда она опомнилась, музыка уже не играла и полка не было. Она перебежала дорогу к тому месту, где оставила хозяина, но, увы! столяра уже там не было. Она бросилась вперед, потом назад, еще раз перебежала дорогу, но столяр точно сквозь землю провалился... Каштанка стала обнюхивать тротуар, надеясь найти хозяина по запаху его следов, но раньше какой-то негодяй прошел в новых резиновых калошах, и теперь все тонкие запахи мешались с острою каучуковой вонью, так что ничего нельзя было разобрать.

Каштанка бегала взад и вперед и не находила хозяина, а между тем становилось темно. По обе стороны улицы зажглись фонари, и в окнах домов показались огни. Шел крупный пушистый снег и красил в белое мостовую, лошадиные спины, шапки извозчиков, и чем больше темнел воздух, тем белее становились предметы. Мимо Каштанки, заслоня ей поле зрения и толкая ее ногами, безостановочно взад и вперед проходили незнакомые заказчики. (Все человечество Каштанка делила на две очень неравные части: на хозяев и на заказчиков; между теми и другими была существенная разница: первые имели право бить ее, а вторых она сама имела право хватать за икры.) Заказчики куда-то спешили и не обращали на нее никакого внимания.

Когда стало совсем темно, Каштанкою овладели отчаяние и ужас. Она прижалась к какому-то подъезду и стала горько плакать. Целодневное путешествие с Лукой Александрычем утомило ее, уши и лапы ее озябли, и к тому же еще она была ужасно голодна. За весь день ей приходилось жевать только два раза: покушала у переплетчика немножко клейстеру да в одном из трактиров около прилавка нашла колбасную кожицу – вот и все. Если бы она была человеком, то, наверное, подумала бы:

«Нет, так жить невозможно! Нужно застрелиться!»

II Таинственный незнакомец

Но она ни о чем не думала и только плакала. Когда мягкий пушистый снег совсем облепил ее спину и голову и она от изнеможения погрузилась в тяжелую дремоту, вдруг подъездная дверь шелкнула, запищала и ударила ее по боку. Она вскочила. Из отворенной двери вышел какой-то человек, принадлежащий к разряду заказчиков. Так как Каштанка взвизгнула и попала ему под ноги, то он не мог не обратить на нее внимания. Он нагнулся к ней и спросил:

– Псина, ты откуда? Я тебя ушиб? О, бедная, бедная... Ну, не сердись, не сердись... Виноват.

Каштанка поглядела на незнакомца сквозь снежинки, нависшие на ресницы, и увидела перед собой коротенького и толстенького человечка с бритым пухлым лицом, в цилиндре и в шубе нараспашку.

– Что же ты скулишь? – продолжал он, сбивая пальцем с ее спины снег. – Где твой хозяин? Должно быть, ты потерялась? Ах, бедный песик! Что же мы теперь будем делать?

Уловив в голосе незнакомца теплую, душевную нотку, Каштанка лизнула ему руку и заскулила еще жалостнее.

– А ты хорошая, смешная! – сказал незнакомец. – Совсем лисица! Ну, что ж, делать нечего, пойдём со мной! Может быть, ты и сгодишься на что-нибудь... Ну, фюйть!

Он чмокнул губами и сделал Каштанке знак рукой, который мог означать только одно: «Пойдем!» Каштанка пошла. Не больше как через полчаса она уже сидела на полу в большой светлой комнате и, склонив голову на бок, с умилением и с любопытством глядела на незнакомца, который сидел за столом и обедал. Он ел и бросал ей кусочки... Сначала он дал ей хлеба и зеленую корочку сыра, потом кусочек мяса, полпирожка, куриных костей, а она с голодухи все это съела так быстро, что не успела разобрать вкуса. И чем больше она ела, тем сильнее чувствовался голод.

– Однако плохо же кормят тебя твои хозяева! – говорил незнакомец, глядя, с какою свирепую жадностью она глотала неразжеванные куски. – И какая ты тощая! Кожа да кости...

Каштанка съела много, но не наелась, а только опьянела от еды. После обеда она разлеглась среди комнаты, протянула ноги и, чувствуя во всем теле приятную истому, завильяла хвостом. Пока ее новый хозяин, развалившись в кресле, курил сигару, она виляла хвостом и решала вопрос: где лучше – у незнакомца или у столяра? У незнакомца обстановка бедная и некрасивая; кроме кресел, дивана, лампы и ковров, у него нет ничего, и комната кажется пустою; у столяра же вся квартира битком набита вещами: у него есть стол, верстак, куча стружек, рубанки, стамески, пилы, клетка с чижигом, лохань... У незнакомца не пахнет ничем, у столяра же в квартире всегда стоит туман и великолепно пахнет клеем, лаком и стружками. Зато у незнакомца есть одно очень важное преимущество – он дает много есть, и, надо отдать ему полную справедливость, когда Каштанка сидела перед столом и умильно глядела на него, он ни разу не ударил ее, не затопал ногами и ни разу не крикнул: «По-ошла вон, треклятая!»

Выкурив сигару, новый хозяин вышел и через минуту вернулся, держа в руках маленький матрасик.

– Эй ты, пес, поди сюда! – сказал он, кладя матрасик в углу около дивана. – Ложись здесь. Спи!

Затем он потушил лампу и вышел. Каштанка разлеглась на матрасик и закрыла глаза; с улицы послышался лай, и она хотела ответить на него, но вдруг неожиданно ею овладела грусть. Она вспомнила Луку Александрыча, его сына Федюшку, уютное местечко под верстаком... Вспомнила она, что в длинные зимние вечера, когда столяр строгал или читал вслух газету, Федюшка обыкновенно играл с нею... Он вытаскивал ее за задние лапы из-под верстака и выделывал с нею такие фокусы, что у нее зеленело в глазах и болело во всех суставах. Он

заставлял ее ходить на задних лапах, изображал из нее колокол, то есть сильно дергал ее за хвост, отчего она визжала и лаяла, давал ей нюхать табак... Особенно мучителен был следующий фокус: Федюшка привязывал на ниточку кусочек мяса и давал его Каштанке, потом же, когда она проглатывала, он с громким смехом вытаскивал его обратно из ее желудка. И чем ярче были воспоминания, тем громче и тоскливее скулила Каштанка.

Но скоро утомление и теплота взяли верх над грустью... Она стала засыпать. В ее воображении забегали собаки; пробежал, между прочим, и мохнатый старый пудель, которого она видела сегодня на улице, с бельмом на глазу и с клочьями шерсти около носа. Федюшка, с долотом в руке, погнался за пуделем, потом вдруг сам покрылся мохнатой шерстью, весело залаял и очутился около Каштанки. Каштанка и он добродушно понюхали друг другу носы и побежали на улицу...

III Новое, очень приятное знакомство

Когда Каштанка проснулась, было уже светло и с улицы доносился шум, какой бывает только днем. В комнате не было ни души. Каштанка потянулась, зевнула и, сердитая, угрюмая, прошла по комнате. Она обнюхала углы и мебель, заглянула в переднюю и не нашла ничего интересного. Кроме двери, которая вела в переднюю, была еще одна дверь. Подумав, Каштанка поцарапала ее обеими лапами, отворила и вошла в следующую комнату. Тут на кровати, укрывшись байковым одеялом, спал заказчик, в котором она узнала вчерашнего незнакомца.

– Рррр... – заворчала она, но, вспомнив про вчерашний обед, завиляла хвостом и стала нюхать.

Она понюхала одежду и сапоги незнакомца и нашла, что они очень пахнут лошадью. Из спальни вела куда-то еще одна дверь, тоже затворенная. Каштанка поцарапала эту дверь, налегла на нее грудью, отворила и тотчас же почувствовала странный, очень подозрительный запах. Предчувствуя неприятную встречу, ворча и оглядываясь, Каштанка вошла в маленькую комнатку с грязными обоями и в страхе попятилась назад. Она увидела нечто неожиданное и страшное. Пригнув к земле шею и голову, растопырив крылья и шипя, прямо на нее шел серый гусь. Несколько в стороне от него, на матрасике, лежал белый кот; увидев Каштанку, он вскочил, выгнув спину в дугу, задрал хвост, взъерошил шерсть и тоже зашипел. Собака испугалась не на шутку, но, не желая выдавать своего страха, громко залаяла и бросилась к коту... Кот еще сильнее выгнув спину, зашипел и ударил Каштанку лапой по голове. Каштанка отскочила, присела на все четыре лапы и, протягивая к коту морду, залилась громким, визгливым лаем; в это время гусь подошел сзади и больно долбанул ее клювом в спину. Каштанка вскочила и бросилась на гуся...

– Это что такое? – послышался громкий сердитый голос, и в комнату вошел незнакомец в халате и с сигарой в зубах. – Что это значит? На место!

Он подошел к коту, щелкнул его по выгнутой спине и сказал:

– Федор Тимофеич, это что значит? Драку подняли? Ах ты, старая каналья! Ложись!

И, обратившись к гусю, он крикнул:

– Иван Иваныч, на место!

Кот покорно лег на свой матрасик и закрыл глаза. Судя по выражению его морды и усов, он сам был недоволен, что погорячился и вступил в драку. Каштанка обиженно заскулила, а гусь вытянул шею и заговорил о чем-то быстро, горячо и отчетливо, но крайне непонятно.

– Ладно, ладно! – сказал хозяин, зевая. – Надо жить мирно и дружно. – Он погладил Каштанку и продолжал: – А ты, рыжик, не бойся... Это хорошая публика, не обидит. Постой, как же мы тебя звать будем? Без имени нельзя, брат.

Незнакомец подумал и сказал:

– Вот что... Ты будешь – Тетка... Понимаешь? Тетка!

И, повторив несколько раз слово «Тетка», он вышел. Каштанка села и стала наблюдать. Кот неподвижно сидел на матрасике и делал вид, что спит. Гусь, вытягивая шею и топчась на одном месте, продолжал говорить о чем-то быстро и горячо. По-видимому, это был очень умный гусь; после каждой длинной тирады он всякий раз удивленно пятился назад и делал вид, что восхищается своею речью... Послушав его и ответив ему: «рррр...», Каштанка принялась обнюхивать углы. В одном из углов стояло маленькое корытце, в котором она увидела моченый горох и размокшие ржаные корки. Она попробовала горох – невкусно, попробовала корки – и стала есть. Гусь несколько не обиделся, что незнакомая собака поедает его корм, а, напротив, заговорил еще горячее и, чтобы показать свое доверие, сам подошел к корытцу и съел несколько горошинок.

IV Чудеса в решетке

Немного погодя опять вошел незнакомец и принес с собою какую-то странную вещь, похожую на ворота и на букву П. На перекладине этого деревянного, грубо сколоченного П висел колокол и был привязан пистолет; от языка колокола и от курка пистолета тянулись веревочки. Незнакомец поставил П посреди комнаты, долго что-то развязывал и завязывал, потом посмотрел на гуся и сказал:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.